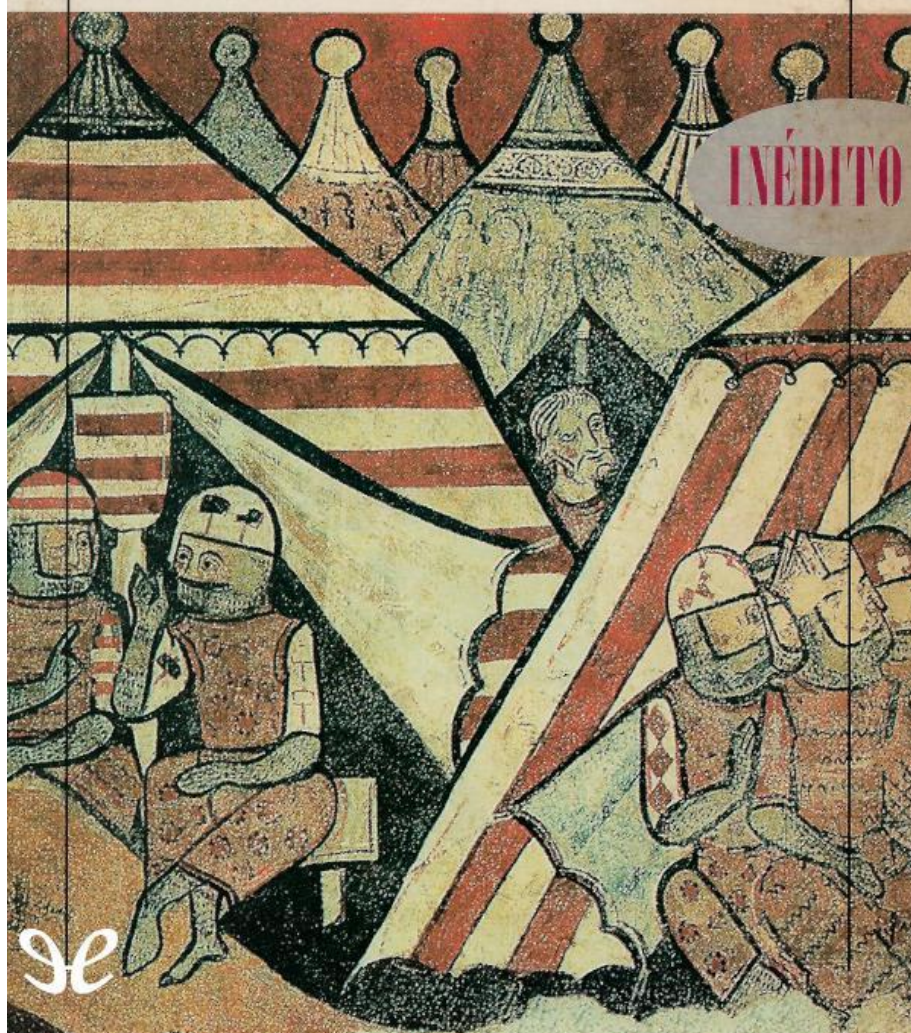


Идея средневековья

Джузеппе Серджи

GIUSEPPE SERGI

La idea de Edad Media



Термин «средневековье», родившийся из размышлений и надежд гуманистов, является хронологической конвенцией, которая укоренилась в культуре нашего времени как вызывающая определенные представления, столько же «воображаемых», одни из которых негативные, а другие позитивные. Среди первых — бедность, голод, чума, политические беспорядки, эксплуатация крестьян, народные суеверия, коррупция духовенства... Среди вторых — турниры, замки, дамы, трубадуры, верные рыцари и великодушные принцы. Но напротив воображаемого средневековья стоит реальность исторических исследований, вооруженных лучшей филологией и оснащенных строгой методологией, которые изучают, как были организованы различные виды власти в средневековье, роль иерархии, сельские поместья или городская гегемония. Можно ли примирить эти два взгляда? Именно это и сделал Джузеппе Серджи в этой небольшой, но очень плотной книге: он объединил два типа образов, избежав шизофрении и воссоздав единство тысячелетнего исторического периода, который для нас является великолепной лабораторией, богатейшим карьером, в котором мы можем наблюдать структуры и людей в открытой, сложной и увлекательной игре.

Джузеппе Серджи — профессор средневековой истории в Туринском университете и один из директоров Итальянского центра исследований раннего средневековья в Сполето. Среди его работ: «I confini del potere» (1995) и «L'aristocrazia della preghiera» (1998).

Джузеппе Серджи

Идея Средневековья

Между здравым смыслом и историографической практикой

ePub r1.0

Titivillus 14.10.2022

Оригинальное название: L'idea di medioevo

Джузеппе Серджи, 1998

Испанский перевод и вступительная заметка: Паскуаль Тамбурри

Цифровой редактор: Titivillus

ePub base r2.1

Содержание

[Обложка](#)

[Представление о Средневековье](#)

Примечание к испанскому изданию

Презентация первого итальянского издания

1. Проблема

2. Средневековье: определение и хронологические границы

3. Формирование и развитие историографического понятия

4. Века, не только германские и не только римские

5. Уравнение «Средневековье = феодализм»

6. Средневековье как детство Европы

7. Века «закрытой» и «естественной» экономики

8. «Христианское» Средневековье

9. Коммунальное движение между мифом и реальностью

10. Мрачный образ заканчивающегося Средневековья

11. Эпоха экспериментов

Основная библиография

Именной указатель

Примечание к испанскому изданию

Это необычная работа в историографии испаноязычного мира; хотя профессор Джузеппе Серджи не нуждается в представлении, поскольку он хорошо известен в профессиональных кругах и даже за их пределами, возможно, необходимо кратко объяснить смысл книги и, в частности, ее перевода, первого после французского (Flammarion, Париж, 2000).

Прежде всего, следует предупредить читателя, что это интерпретативная, а не повествовательная работа, в которой автор больше занимается идеями, чем фактами. И делает он это, кстати, на основе своего непосредственного опыта исследователя и преподавателя, тесно связанного с институциональным миром «высокого средневековья», особенно с каролингской эпохой, и в частности с опытом северной Италии VIII–XII веков. Эти данные необходимо учитывать для правильного понимания всего текста и многочисленных примеров и случаев, упомянутых в нем. По той же причине в некоторых местах перевод страдает от сложности перевода текста на испанский язык без изменения его смысла.

Перед нами настоящее введение в средневековье; введение не только в том непосредственном смысле, который дает итальянское издание (по своему происхождению это предварительный эссе к университетскому учебнику по данной специальности), но и в более широком смысле, который становится очевидным при чтении: Серджи предлагает критический диалог с концепцией средневековья, преобладающей сегодня в общей культуре, как специализированной, так и более вульгарной, и результатом является

одновременно превосходный синтез проблемы, библиографический и историографический подход, который не претендует на нейтральность, но является наводящим на размышления, а также обширный о -вопросник обсуждаемых тем, которые предлагаются, с одной стороны, широкой публике, а с другой — «медиевистам».

Определение Средневековья, очевидно, интересует тех, кто с той или иной точки зрения изучает этот период, но оно в равной степени интересует и все общество, привыкшее относиться к этой эпохе, какой бы искусственной ни была ее конфигурация, как к реальным или мифическим истокам институтов, форм жизни и идентичностей настоящего. Более того: наряду со Средневековьем «профессионалов» и мифическим Средневековьем общей культуры, мы находим третий аспект, также в значительной степени романтический, а именно Средневековье как *предложение*, то есть как *будущий* горизонт (альтернативно идеальный или катастрофический) европейских народов. И эти три точки зрения, столь далекие друг от друга, берут за отправную точку одну и ту же реальность — Запад, возникший из римско-германского симбиоза примерно между 500 и 1500 годами нашей эры.

В той же итальянской академической среде П. Делогу уже в 1994 году задавал вопрос «зачем изучать средневековую историю?» (в своей *Introduzione allo studio della storia medievale*, Болонья, 1994), а затем Роландо Дондарини, как и ранее Паоло Каммаросано, вновь поднял этот вопрос (*Lo studio e l'insegnamento della storia medievale*, Болонья, 1996). Из всех историографических дисциплин, пожалуй, именно средневековые исследования были наиболее постоянными и глубоко заинтересованными в своем предмете изучения и различных интерпретациях этого предмета. Таким образом, современные историки, такие как, например, Х. И. Руис де ла Пенья (*Introducción al estudio de la Edad Media*, Мадрид, 1987), Ж. Бутье и Д. Жюлия (*Переосмысление прошлого. Поля и направления истории*, Париж, 1995), предлагают ответы и продолжают поднимать новые вопросы, часто в контексте социальных дебатов, выходящих далеко за пределы узких рамок университетского мира. Разнообразие позиций и аргументов, не всегда менее обоснованных из-за своей нетрадиционности, буквально неопишимо. Этот вопрос можно проследить до итальянского гуманизма, создавшего «идею» Средневековья, понимаемого как новый исторический этап, не имеющий преемственности с предыдущим миром (Н. Рубиштейн, «*Il Medioevo nella storiografia italiana del Rinascimento*», в *Concetto, Storia, Miti e Immagini del Medioevo*, Флоренция, 1973).

Средневековье, в конечном счете, оказывается одновременно исторической эпохой (понятой как таковая *апостериорно* и без «самосознания»), мифом с неясными корнями и широким применением от сегодняшнего дня до завтрашнего и объектом научного исследования. Г. Серджи пишет на основе длительной дискуссии, в которой участвовали величайшие историки века, от Марка Блока до Жака Ле Гоффа (например, *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*, Барселона, 1991), включая часто забываемые вклады немецких и итальянских авторов (Л. Гатто, *Viaggio intorno al concetto di Medioevo. Профиль истории средневековой историографии*, Рим, 1977-1992). Кроме того, все разделения истории являются искусственными, а прошлое — это единая реальность, которую мы фрагментируем только для удобства и редко без риска.

Возможно, как предполагает Серджи в своем эссе, если история является наукой, то ее целью должно быть просто поиск истины о прошлом, честно прибегая к силе человеческого разума и интеллекта и ставя результат на службу сообществу и его краткосрочным или долгосрочным потребностям. Применение заранее сформированных моделей, некритичное принятие детерминизма любого рода были вековыми искушениями профессиональных историков, но вполне вероятно, что определенный широкий консенсус по поводу миссии

исследователя теперь вернется к Федерико Чабоду (*Lezioni di metodo storico*, Roma-Bari, 1969), Хосе Антонио Мараваллом (*Teoría del saber histórico*, Madrid, 1958) и, что удивительно, Л. фон Ранке, когда он стремился избежать «(...) миссии судить прошлое, учить современный мир, чтобы помочь будущим поколениям», чтобы, по возможности, «только показывать вещи такими, какими они были на самом деле». В любом случае, размышления Сержи явно и сознательно берут свое начало у Марка Блока, который прочно закрепил границы дискуссии (*Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien*, в настоящее время переведенная как *Apología para la historia o el oficio de historiador*, Мехико, 1996).

Вопрос о том, что такое средневековье как дисциплина, чем оно хочет быть и чем может быть, уже был подробно рассмотрен до Сержи; правда, с трудными и противоречивыми ответами, но трудно поддающимися дальнейшему обогащению, как отметил Э. Оккипинти (*Che cosa è il medioevo. Percorsi storiografici tra quattro e ottocento*, Болонья, 1994). Возможно, необходимо, а также более практично и наглядно определить, чем *не является* Средневековье. Средневековье по-прежнему имеет фатально романтический «образ» в обществе, к лучшему или к худшему, и по-прежнему актуальна блестящая защита, сделанная Жаком Хером (*Le Moyen Âge, une imposture*, Париж, 1992, переведено как *La invención de la Edad Media*, Барселона, 1995) и Региной Перну (*A la luz de la Edad Media*, Барселона, 1988). Заслуга Джузеппе Серджи заключается в том, что он осмелился на нескольких страницах развенчать важные институциональные, культурные и идеологические вехи, которые до сих пор лежат в основе *ложного* представления о *нереальном* Средневековье.

Другая проблема — которая в некотором смысле является самой сутью средневековья как проблемы — касается коллективного субъекта, который в принципе является главным героем средневекового тысячелетия: Европы и европейцев. Европа охватывает более обширное пространство, чем можно было бы предположить в средневековье; формирование западного христианства, на котором однозначно основана европейская цивилизация, подразумевает двойной процесс внутренней когезии и параллельной и последующей экспансии на восток, юг и запад. По этому вопросу и в связи со средневековой историей Овидио Капитани определяет Европу как средневековое творение (*Storia Medievale*, Милан, 1992). Существует много определений Европы (собранных, например, Г. Орталли, *Medioevo-Europa. Sulle tracce di una difficile identità*, в R. Greci, *Itinerari medievali e identità europea*, Болонья, 1999, стр. 3-32, Хуан Карраско, *Европа на пороге кризиса 1250-1350*, в *Европа на пороге кризиса 1250-1350. XXI Semana de Estudios Medievales de Estella*, Памплона, 1995, и в сборнике *Europa: proyecciones y percepciones históricas*, Саламанка, 1997, и не будет лишним вспомнить мнение самого Марка Блока о «пространствах понимания», цивилизациях и их возможных «окраинных зонах»), одни из которых носят социальный и культурный характер, другие имеют географические корни, но все они должны относиться к Средневековью, а конкретно к решающей встрече между римским и германским мирами, которая, возможно, является *лейтмотивом*, проходящим через одиннадцать глав работы Сержи. Можно сказать, что только европейское или связанное с Европой является средневековым, и, следуя Серги, утверждать центральную роль «средневекового» в определении современной Европы на всех уровнях (так, G. Fasoli *et al.*, *Guida allo studio della Storia. Medievale, moderna, contemporanea*, Болонья, 1970; Ж. Ле Гофф, *Старая Европа и современный мир*, Мадрид, 1995, а также Отто Бруннер, *Внутренняя структура Запада*, Мадрид, 1991, и Дитрих Герхард, *Старая Европа. Факторы преемственности в европейской истории (1000-1800)*, Мадрид, 1991), оставив за пределами средневековья изучение других «средних веков» и других пространств цивилизации.

Дело в том, что средневековые общей, «воображаемой» культуры не только проецируются на прошлое, но и время от времени, с самых разных точек зрения, появляется в гипотетическом будущем, будь то как надежда перед лицом неопределенного настоящего или как подтверждение неизбежной, но по той или иной причине нежелательной эволюции. На эту тенденцию уже указывал О. Капитани (*Medioevo passato prossimo. Appunti storiografici: tra due guerre e molte crisi*, Болонья, 1979), и, похоже, трудно остановить то, что стало скорее коллективной интеллектуальной привычкой, чем модой, начиная с Николая Бердяева (*Una nueva Edad Media*, Буэнос-Айрес, 1946) и Роберто Вакки (*Il medioevo prossimo venturo*, Милан, 1971), до Алена Минк (*Le nouveau Moyen Âge*, Париж, 1993), Умберто Эко и других (*La nueva Edad Media*, Мадрид, 1974). В этой столь проблематичной тенденции нет виновных, даже Освальд Шпенглер, и остается только принять к сведению и, конечно же, не допустить, чтобы она повлияла на изучение «реального» Средневековья (об этом в Италии говорили Франко Кардини, «Medioevo “prossimo venturo”, “presente inattuale” o “passato prossimo”? Significati, equivoci e prospettive di un Revival», *Storia della storiografia*, 3, 1983, с. 99-112, а в Испании совсем недавно Хосе Энрике Руис-Доменек, *Observando la modernidad desde la Edad Media*, Валенсия, 1999).

Ранее упоминалось о неоспоримой силе некоторых позитивистских предложений, которые раньше всегда осуждались как *случайные*, но тем не менее столь полезные для историка в его работе, как и для общества в ее восприятии. В свете предложений Джузеппе Серджи в этой и других работах, а также вспоминая всегда актуальные учения других современников, таких как Марио Ашчери, Джованни Табакко и Овидио Капитани, следует также упомянуть здесь проблему, которая затрагивает испанский медиевизм, а именно отчуждение истории права и институтов: родственные дисциплины во всей Европе, когда-то объединенные Эдуардо Инохоса, Клаудио Санчесом Альборносом и Луисом Гарсиа де Вальдеавельяно, которые могли бы найти новую и отличную точку соприкосновения в политических формах и их *институциональном экспериментировании*, предложенном Серджи в качестве лейтмотива средневековья в целом.

Наконец, есть те, кто считает, что использование периодизации в исторических науках является устаревшим и вредным обычаем (A. Ségal, «Périodisation et didactique: le ‘moyen âge’ comme obstacle à l’intelligence des origines de l’Occident», в *Périodes. La construction du temps historique. Actes du V^e colloque d’Histoire au présent*, Париж, 1991), но, если понимать это понятие так же разумно и дальновидно, как Серджи, «наше» Средневековье очень живо и еще может многое предложить. Следующие страницы являются смелым ответом на все вышеуказанные вопросы.

Паскуаль Тамбурри

Олите, 22 ноября 2000 г.

Презентация первого итальянского издания

Эта небольшая книжка имеет свою небольшую историю, которую стоит вкратце изложить. Она зародилась как вступительная статья к учебнику по средневековой истории,

предназначенному для университетских студентов, опубликованному в 1998 году издательством Donzelli (Storia medievale). Издатель поручил ее написание автору, порекомендовав ему сосредоточиться на развенчании концепции «средневековья». Каждый общий место — а Средневековье, по причинам, которые здесь подробно рассматриваются, было одной из самых плодотворных фабрик общих мест — имеет свое происхождение, свои мотивы, свои «истинные» послания; и содержание фальсификации и... которое характеризует каждый из рассматриваемых стереотипов, не может быть устранено и окончательно уничтожено только потому, что были указаны его причина и происхождение.

Средневековье является важной частью нашей истории, в том числе и в этом конкретном смысле: оно было и остается источником представлений, воспоминаний, образов. Напротив воображаемого Средневековья стоит реальность исторических исследований; самых современных и сложных, самых филологически выверенных и методологически острых. Объединить два типа образа, избежать шизофрении, воссоздать, по крайней мере, тенденциозно и для исследования, единство объекта: такова была задача — сама по себе несомненно сложная — которую было поручено разработать автору. Он справился с этой задачей настолько хорошо (по крайней мере, по нашему мнению), что заслужил публикацию эссе в отдельном издании. Как приглашение прочитать весь том, из которого оно взято, как место для размышлений об истории идей. Так решил издатель, и автор дался убедить, не без сопротивления.

Читатели будут ему благодарны.

Издатель

Рим, сентябрь 1998 г.

1

Проблема

«Средневековье» — это хронологическая конвенция, которая укоренилась в общей культуре Нового и Современного времени. Она берет свое начало в размышлениях гуманистов XV и XVI веков, вдохновленных надеждой на новую эру культурного возрождения и общего подъема.

Стремление этих интеллектуалов создать «мрачный» образ всего Средневековья (от падения Римской империи до, по крайней мере, XIV века) понятно, если вспомнить о тяжелых годах, которые они только что пережили. Человеческий разум имеет естественную склонность к перспективе. Глядя на прошлое, он сначала видит самое близкое, затем недавнее прошлое и спонтанно представляет себе все предыдущие века похожими на это недавнее прошлое, но не обязательно так и было: часто более далекое прошлое было лучше, чем недавнее. Негативная репутация Средневековья во многом зависит от этой деформации, а также от «кризиса» XIV века: для гуманистов было произвольным, как и сегодня, представлять себе

VIII–XIII века похожими во всем на апокалиптическую картину, определённую чумой и голодом XIV века.

Далее мы углубимся в происхождение терминологии, относящейся к «средневековью», и в то, как концепция Средневековья развивалась с момента своего зарождения до наших дней. Но необходимо исходить из современного представления о Средневековье, а именно о топическом Средневековье (), каким мы его находим в общей культуре, как в высокой культуре учебников и научно-популярных изданий, так и в низшей культуре журналистики и разговорного языка. Уже упомянутое искажение перспективы в отношении прошлого сильно влияет на формирование этого стереотипа. Представляя развитие прошлого как *непрерывный* процесс без изменений, общая культура делает Средневековье источником и местом происхождения форм социальной жизни, наиболее чуждых современности. Если, например, в период между концом Средневековья и началом Нового времени питание крестьян в основном состояло из каш из зерновых, то то же самое предполагается и для раннего Средневековья, хотя на самом деле в деревнях на столах было гораздо больше мяса. Если с промышленной революцией укрепилась модель более широкой и патриархальной семьи, то предполагается, что истоки такой модели должны быть в средневековье, когда напротив преобладала нуклеарная, или супружеская, семья, гораздо более похожая на современную.

Ярким примером такого искажения представлений о прошлом является понятие феодализма, сегодня изношенное от частого использования. Абстракция «феодализм» — это многозначный термин, который не принадлежит средневековому лексикону и был придуман только в эпоху Нового времени. В XVIII веке революционные буржуа пренебрежительно определяли феодализм как «средневековый пережиток». С их точки зрения, не имело значения, что феодализм, который они наблюдали, не был «классическим» (вассально-благотворительный) средневековый феодализм (без пирамидальной иерархии, без делегирования власти, связанного с инвеститурой), а возник из более поздних импульсов, не связанных с распадом Каролингской империи, а скорее связанных с новой Европой национальных государств. Люди Просвещения судили именно с определенной точки зрения: они критиковали социальную модель, наблюдая ее в «версии», которую они лично пережили, и проецировали конечную точку процесса на прошлое, предполагая, что она идентична начальной точке. Неудивительно, что эта же точка зрения использовалась и впоследствии, вплоть до наших дней, в последовательности инстинктивных вопросов и ответов: «Что такое феодальная система? Та, которая была свергнута Французской революцией. А каким был феодализм, свергнутый в то время? Средневековым пережитком. А какова была особенность Средневековья? То, что оно породило феодальную организацию власти. А какова была эта феодальная организация власти? Похожа на феодальную систему, которая еще существовала в XVIII веке». С помощью этого кругового и тавтологического рассуждения история становится статичной, стираются VIII–XII века, наиболее типичные для феодальных институтов, и, что еще более важно, придумывается первоначальный феодализм, глубоко отличающийся от того, который действительно существовал.

Можно возразить, что средневековая история не имеет исключительного права на феодальную терминологию. Однако средневековье — это период, который знаменует собой рождение слова и понятия «феод»; и неверно, что именно это средневековое представление преподносится в школах и в общей культуре совсем иначе, чем оно было на самом деле. Неправильно, что первоначальное значение загрязняется (и, следовательно, практически скрывается) более поздними значениями. Неправильно применять к средневековью категории, действительные для последующих веков. Предложение по этому поводу великого

ученика Марка Блоха, Робера Бутруша, ясно и категорично: «Мы упорно считаем, что без вассального договора, без феода, без социальной и политической организации, основанной на частных связях частного характера, феодального режима не существует. Необходимо очистить его от обволакивающего его претенциозного языка [...] и, вернув его в его среду, посмотреть на него глазами его современников».

Однако это предложение по-прежнему принимается во внимание только специалистами, потому что наша массовая культура, похоже, не нуждается в Средневековье таким, каким оно было на самом деле, а в вымышленном Средневековье: том, которое сформировалось на протяжении веков в коллективном сознании. В наши дни Средневековье функционирует как «другое место» (негативное или позитивное) или как «предпосылка». В «другом месте» — это бедность, голод, чума, политический беспорядок, злоупотребления латифундистов по отношению к крестьянам, суеверия народа и коррупция духовенства. В «другом месте» положительном есть турниры, придворная жизнь, эльфы и феи, верные рыцари и великодушные принцы. Но также спорным является использование Средневековья в качестве общей предпосылки (разнообразия или подготовки) для веков после XV века и таких аспектов, как капитализм, современное государство, подъем буржуазии, новые формы объединений; и тем не менее это по-прежнему очень распространенная практика, в том числе в образовании, где она продолжает функционировать как совокупность поверхностно подчеркнутых предполагаемых характеристик, чтобы лучше проиллюстрировать то, что происходит позже.

К инструментализации Средневековья как «предпосылки» следует также отнести обращение к досовременным векам в поисках «корней» или этапа формирования национальных, региональных или местных идентичностей. В полемике с универсализмом XVIII века и интернационализмом XX века (к которому стремились как в развитом капитализме, так и в так называемом реальном социализме), большие и малые национализмы, соответствующие устоявшимся культурам или заново изобретенные для политических требований, находят в «воображаемом» Средневековье (раздробленном и запутанном, которое перестало быть римским и еще не вписалось в рамки великих современных государств) идеальное пространство для размещения особых традиций, мифических истоков, предвестников этнических, национальных или даже только региональных идентичностей. К этим аспектам мы вернемся позже, когда будем рассматривать тему европейских истоков.

Таким образом, мы должны констатировать, что средневековье в современной общей культуре очень мало обязано исследованиям историков, а отвечает настойчивым требованиям коллективной психологии, подтверждаемым и подпитываемым различными способами средствами массовой информации (вспомним заголовки газет, в которых ретроградное поведение называется «средневековым», магические практики — «средневековыми», «средневековыми» называют самые крайние формы угнетения, но также и рыцарское поведение). Это Средневековье, в основном XIV и XV веков (следовательно, «последнее» Средневековье), мрачное или сияющее в зависимости от идеологической ориентации того, кто его вспоминает, театр мифических героев, амбициозных династий и угнетенных народов. Исторические исследования XX века с трудом могут противостоять представлениям, которые сформировались на протяжении веков, постоянно сопровождая формирование самого понятия «Средневековье».

Средневековье: определение и хронологические границы

С середины XV века интеллектуалы из разных культурных сфер стали использовать определения «*media aetas*», «*media tempora*», «*media tempestas*»; в XVII веке появились термины «*medium aevum*» и «*middle age*». Впоследствии успех прилагательного «*medieval*» или, более часто используемого сегодня, «*medieval*») определил успех определения, от которого оно происходит: «Средневековье», постепенно вытеснившее «середина века», которое вначале использовалось чаще. В 1550 году историк искусства Вазари начал использовать трехчастную периодизацию, которая стала общепринятой (Древняя, Средневековая и Новая эпохи). До него уже утвердилось понятие определенного Средневековья: определения были неясными, но термин «Средневековье» уже использовался несколько раз.

Литераторы итальянского гуманизма XIV-XV веков, благодаря переоткрытию и изучению классиков, сформировали представление о многовековом промежутке между культурой древних и культурой (гордящейся своей связью с традициями древних) своего времени. Первым историком Средневековья был гуманист Флавио Бьондо. В аналитической форме (то есть, излагая события в строгой хронологической последовательности) Флавио Бьондо рассказал о исторических событиях в западном мире с 412 года до своего времени, то есть до 40-х годов XV века; автор никогда не определял этот длительный период времени как «Средневековье», но можно констатировать, что рассматриваемый период совпадал с средневековым тысячелетием в более позднем, более распространенном значении этого термина.

«Периодизация» — это культурная операция, направленная на понимание истории: история делится на более или менее длительные «периоды», которые можно достаточно однородно вспомнить, поскольку коллективная память людей не способна проникнуть в магму прошлого, выделяя в ней каждый элемент. Периодизация, которая привела к появлению европейского понятия «Средневековье», настолько обусловлена негативностью его конечной части, что для формирования длительного полностью негативного периода было решено найти также «темное» начало: V век, падение Римской империи, кризис перестройки, пережитый тогда Европой, которая уже не входила в состав крупного государственного образования и еще не была готова функционировать на основе локализма, этнической интеграции и новых форм организации.

Сегодня историки не спорят о целесообразности дальнейшего использования понятия «Средневековье», которое слишком широко распространено в обиходе, чтобы его можно было отменить. Но они напоминают нам всем, что так называемое Средневековье длилось не менее тысячи лет (огромный срок) и что невозможно, чтобы все тысячелетие было одинаковым. Вместо этого мы можем найти некоторую связность в пяти или шести центральных веках Средневековья (около тысячелетия, от экспансии франков до развития муниципалитетов), которые можно рассматривать как детство современной Европы, ее многоэтнической культуры (в основном латино-германской), ее форм сосуществования, ее функционирования.

Наиболее распространенными хронологическими границами Средневековья в традиции учебников являются 476 год (свержение Ромула Августула, официально последнего

императора Западной Римской империи) и 1492 год (открытие Америки Христофором Колумбом). Некоторый успех — возможно, больше за пределами Италии, чем в наших традициях — имели и другие, не столь далекие даты, такие как 410 год (разграбление Рима вестготами) и 1453 год (завоевание Константинополя турецкими мусульманами). Другие даты начала Ренессанса присутствуют в конкретных национальных культурах: 1485 год, установление династии Тюдоров в Англии; 1494 год, начало великих завоеваний Карла VIII во Франции; 1517-1519 годы, восстание Лютера и избрание Карла V в Германии. Во всех случаях в целом признается, что средневековье охватывает период между V и XV веками. Если же учитывать области исследования профессиональных историков, то можно заметить, что V и VI века анализируются экспертами по «поздней античности», а XV век является предметом исследования, проводимых «модернистами». Таким образом, века, которые предпочтительно изучают «медиевисты», охватывают период с VII по XIV век.

Внутренняя периодизация средневекового тысячелетия также варьируется от культуры к культуре: в Италии различают «высокое средневековье» (с V века по 1000 год) и «низкое средневековье» (с 1000 года по XV век), и это деление получило определенный успех благодаря распространению итальянской культуры в прошлые века. Однако в англоязычных странах часто используется термин «high Middle Ages» для обозначения «развета» средневековья, то есть XII и XIII веков. Немецкая периодизация выглядит иначе: «Frühmittelalter» (раннее Средневековье) обозначает V-VIII века; «Hochmittelalter» (высокое Средневековье) — века около 1000 года; «Spätmittelalter» (позднее Средневековье) — XII-XV века. Это деление на три части хорошо соответствует реальности исследований и социальным, политическим и экономическим моделям, которые можно четко определить и идентифицировать: не случайно и в Италии в современной исторической культуре упоминаются «центральные века Средневековья» (IX-XII), которые считаются наиболее характерными, явно отличающимися от классических обществ и обществ Старого режима.

3

Формирование и развитие историографического концепта

Концепция Средневековья с момента ее формулирования сразу же приобрела негативную коннотацию. В том числе и на политическом уровне: Италия времен Лоренцо Великолепного стремилась к идеалам равновесия и рационализации, и ее интеллектуалы могли апеллировать к мифу о Древнем Риме (если их вдохновляли мечты о великом объединении) или к мифу о греческой полисе (если они были привержены идее гражданской автономии). Можно отметить, что оба мифа были связаны с классическим миром, очень далеким от спонтанного воинства германцев («варваров») и последующего «беспорядка», родившегося из этого латино-германского этнического столкновения, которому гуманизм и Возрождение не придавали никакого положительного значения. На культурном уровне наблюдалось безразличие и презрение к оригинальным проявлениям средневековья, которое обвинялось не столько в том, что оно ничего не произвело, сколько в том, что оно позволило себе произвести. Раннее Новое время ценило отцов Церкви, но только потому, что считало их культурными переработчиками классического наследия; оно ценило также трудолюбивых и анонимных монахов-переписчиков, потому что они обеспечили передачу древних авторов,

не претендуя на переработку. Зато она не ценила наиболее типичных писателей средневековья, таких как летописцы и житиописцы, потому что не воспринимала их живость и, напротив, строго подчеркивала их грубые формы выражения.

В последующие века судьба Средневековья была переменчивой. В XVII и XVIII веках можно найти положительные, но сдержанные переосмысления среди интеллектуалов, которые испытывали спонтанное любопытство к прошлому, таких как Жан Мабийон и, прежде всего, Луи де Томассин и Лудовико Антонио Муратори. Снова радикально негативная оценка появилась в эпоху Просвещения, которая заложила основы нашей современной культуры, приписывая средневековью всю уродливость, предшествовавшую Французской революции, и все обычаи, противоречащие идеалам разума, свободы и равенства (). При этом не принималось во внимание то, что многие из этих обычаев и несправедливостей утвердились в XVII и начале XVIII веков.

XIX век Реставрации, романтизма, открытия национальных идентичностей, напротив, занялся положительным переосмыслением тех же аспектов, которые осуждало Просвещение: в суевериях ценились магические и сказочные стороны, в раздробленности искали корни национальных цивилизаций, подлинных или вымышленных. В частности, самосознание и осознание собственного прошлого немецкого народа, стремившегося к политическому единству, придали националистическо-романтический поворот исследованиям средневековой истории. Из этого спорного импульса родились инициативы неоспоримого и долговечного качества: началась деятельность исследовательских институтов, таких как Monumenta Germaniae Historica; такие серьезные исследователи, как Савиньи, Вайтц, Хартманн и Лампрехт, объединили историографические школы истории права, институтов, экономики и цивилизации.

Немцы прошлого века начали заниматься средневековьем с сильной идеологической нагрузкой: в прошлом Европы они выбрали самый «германский» период, освободив его своеобразные проявления от опеки латинской культуры, которая — с мифом о классиках или римском праве — до тех пор покрывала и в некотором смысле скрывала самые оригинальные проявления средневекового тысячелетия. Позитивистские методы в оригинальном сочетании скорректировали романтические порывы и помешали в Германии развитию фантастических реконструкций, подобных тем, которые во Франции интерпретировал Жюль Мишле. Иллюстрируя вклад германских народов в формирование современной Европы, большая часть немецкого средневековья начала склоняться к строгой реконструкции прошлого на основе документов. Это не означает, что такой подход был нейтральным: исследователи, участвовавшие в политической и идеологической атмосфере Германии конца XIX века, интерпретировали немецкое средневековье как историю постепенного разложения, вызванного контактами германцев со средиземноморскими народами. Главной героиней была своего рода «первоначальная доброта» немецкого народа, со временем утраченная: Европа была бы лучше, если бы германцы не были вынуждены договариваться с цивилизацией, слишком отличавшейся от их собственной.

Этой атмосфере следует приписать теорию *Markgenossenschaft*, германской общинной деревни: считалось — дополняя сведения Тацита с помощью нескольких доказательств — что германские деревни до встречи с римлянами были организованы по принципу своего рода первобытного коммунизма. Такой историк, как Маурер, хотя и связанный с правыми политическими кругами, не колебался в своем восхвалении того первобытного коммунизма, считая его проявлением стремления к равенству, вызванного превосходством германской цивилизации над цивилизациями Средиземноморья.

Теория первобытного коммунизма германцев и его средневековых остатков в прошлом веке имела большой успех и повлияла на Маркса и Энгельса, которые были культурно привержены интерпретации средневековья как великого театра докапиталистических экономических форм. Для обоих теоретиков социализма было естественным использовать средневековые исследования своего времени без предварительного критического анализа идеологической ориентации их авторов: таким образом, германский коммунизм первобытных времен, продукт теории, которая пыталась доказать превосходство одной расы, вошел в работы, которые, напротив, стремились переоценить все уравнилельные тенденции, проявившиеся до утверждения капитализма. Римский мир, даже будучи побежденным, глубоко повлиял на эгалитарный дух первых германцев, соблазнив их землевладением. Различные германские народы, привыкшие делить добычу, в контакте с римским миром начали предусматривать более крупные доли для вождей племен. А поскольку новые войны были не грабительскими, а перемещающими, добычей были в основном земли, и неравное их распределение привело к появлению латифундий в германской цивилизации.

Недоказуемость большей части этих постулатов сегодня очевидна для всех, но для многих немецких исследователей прошлого века появление латифундий о знаменовало начало коррупции первоначального духа германизма. С другой стороны, нельзя отрицать некоторые положительные последствия этой тенденции к открытию немецких корней: в историю вошли темы этноантропологического характера, в то время как изучение прошлого отказалось от определенных универсалистских и обобщающих веяний в пользу национальных перспектив, которые, если не судить об этом с идеологической точки зрения, были наиболее подходящими для тщательного анализа и предвещали качество «региональной» истории нашего века. Примером тому может служить расцвет исследований методов земледелия, связанных с различными культурами — кельтской, славянской, германской — понимаемыми как «цивилизации» и, следовательно, также как традиции повседневной жизни, труда, сосуществования людей. Этот тип исследований достиг своего апогея в работе Мейцена и его классификации типичных для каждого народа форм полей.

Идея о том, что каждый элемент человеческой истории может иметь различные проявления в зависимости от сферы цивилизации, в которой он реализуется, является большим вкладом, который немецкий медиевизм конца века внес в развитие историографии. Лампрехт и *Kulturgeschichte* во многом предвосхитили столь удачный опыт французского журнала *Annales*, и многие темы уже тогда рассматривались в стиле, который не вызвал бы недовольства Марка Блока.

Мы видели сначала, как историография XIX века настаивала на нереализованном потенциале Германии, сдерживаемом латино-германским столкновением; однако та же историография также посвятила себя поиску «победивших» элементов культуры, которая должна была построить Европу. Шаги просты: Европа постепенно формируется в средневековье, средневековье по сути германское, значит, Европа — германское построение. Это реакция XIX века в Германии на латинские культуры: итальянскую (с широким международным резонансом), согласно которой все хорошее в Средневековье было связано с утомительным выживанием элементов римского классицизма; французскую, которая, кроме того, *националистически* присвоила миф о Карле Великом, почти поставив в скобки неоспоримую германскую этническую принадлежность франков. Кроме того, в французском или немецком определении Карла Великого много лет назад застрял проект «европейского» учебника истории; или, даже сегодня, в итальянских школах отношения между франками и лангобардами представляются как своего рода «французское»

вторжение, тогда как на самом деле итальянская земля является ареной большого межгерманского столкновения, в котором преобладает народ, более склонный к этнической интеграции и федеративным связям, хотя и демонстрирующий более высокий уровень примитивизма. *Lex Salica* франков содержала нормы (о положении женщин, о соотношении преступления и наказания), которые были гораздо более отсталыми, чем законодательство лангобардов.

В XIX веке лучший европейский медиевизм характеризовался явным биполярным характером. Георг Вайтц, великолепный немецкий исследователь институтов, представлял Европу, которая на основе элементов германской культуры сформировала новые формы сосуществования. Все, что было полезно из римского прошлого, было сохранено и интерпретировано доминирующим германским сословием. Француз Фюстель де Куланж, напротив, придавал иное значение встрече германской и латинской цивилизаций: корни современной Европы были бы в основном римскими, состоящими из элементов, которые нашли в Галлии встречу между франками и римской senatorской аристократией (и, следовательно, во Франции) большую лабораторию для переосмысления себя и предложения себя будущему.

Таким образом, общая культура XX века унаследовала от историографии XIX века понятие, возможно, более сложное, но столь же негативное, чем то, которое было разработано гуманистами, оставив только части правого идеологического крыла возвеличивание в значительной степени «вымышленного» Средневековья. Среди исследователей дело обстоит иначе. Историки литературы и искусства сделали много важных открытий. Историки избавили эту область от многих клише: например, доказав несуществование таких налогов, как *ius primae noctis*, или мифов, как ожидание тысячелетия, или стереов образ общества, застрявшего в «феодальной пирамиде». Но прежде всего среди историков сейчас преобладает идея, что «Средневековье» — это чисто условное обозначение периода. Если еще в середине XX века Джорджо Фалько и Рафаэлло Морген исследовали смысл средневекового тысячелетия и пытались дать ему компактное определение, соотнося его с тотальной идеей «христианского общества», то сегодня это уже не так: есть те, кто продлевает древний мир до X века (Ги Буа), кто теоретизирует о «длинном средневековье» вплоть до промышленной революции (Жак Ле Гофф), кто даже, изучая средневековье, никогда не использует прилагательное «средневековый» (Массимо Монтанари).

В последующие годы и в течение большей части нашего века римская и германская интерпретации средневековья продолжали противостоять друг другу, но в анализе такого великого медиевиста, как Джованни Табакко, и в преобладающей ориентации научного сообщества уже уделяется внимание равновесию латино-германского взаимодействия и, прежде всего, ценятся оригинальные продукты цивилизации, возникшие в результате этого взаимодействия, без остановки на оценках преобладания. Становится все более очевидным, что сближение преобразило две цивилизации, которые в нем участвовали, производя синтез, который имеет мало аналогов в мировой истории.

4

Века, которые были не только германскими и не только римскими

Таким образом, первые века средневековья не были ни чистыми передатчиками ценностей классической античности, ни инертными полями утверждения новых ценностей германских народов, а представляли собой почву для интеграции различных традиций.

Настоящая интеграция была осуществлена франками: их интеграция увенчалась большим успехом, чем частичные и сдержанные этнические встречи, осуществленные другими народами в других регионах. Так не было, например, в случае с предшествующим италийским опытом годов Теодориха, потому что в армии должны были быть только го-ды-, в то время как римляне должны были ограничивать применение своих навыков администрацией и культурой: это была несовершенная гармония, лишенная конструктивного импульса, который мог гарантировать только полную интеграцию. После прибытия франков в южную Галлию начали заключаться смешанные браки между галло-римской и германской аристократией, но прежде всего произошло сближение образа жизни двух сред. Галло-римская аристократия могла без ограничений направлять своих детей на военную карьеру, перенимая из германской традиции модели социального превосходства, основанные прежде всего на престиже оружия, доблести в бою и способности к военному командованию. Германская аристократия, в свою очередь, была склонна направлять некоторых своих детей на церковную карьеру, поскольку осознавала огромный престиж и эффективное политико-социальное влияние епископов в тех регионах. Эта удачная интеграция объясняет, почему Европа была франкским созданием: на этой основе Каролингская империя действительно стала великим достижением, оригинальным в плане сохранения сильных германских коннотаций и параллельного вдохновения римско-византийскими институтами.

Сначала в Галлии, а затем в Италии, постепенно вливаясь в общество, франки столкнулись с ситуациями, в значительной степени новыми для их обычаев. Сначала их деревни были центрами снабжения сельского хозяйства и убежищами после грабежей. Затем, однако, франки ввели в свой привычный образ жизни латифундии и города. Латифундизм, основа продолжения галло-римских сенаторских семей, всегда считался франками необходимым элементом в процессе укрепления аристократических семей. Города с их епископами и гражданскими должностями навязывали новым правителям багаж общественных традиций, которые те частично адаптировали к своим потребностям. Кроме того, представители крупнейших галло-римских семей проникли в дворы различных королевств Галлии, которые в то время управлялись королями из династии, называемой «меровингской», с миссиями, связанными с их культурой и новыми административными требованиями. Сначала при династии Меровингов, а затем, с VIII века, при династии Каролингов, произошло полное слияние германской культуры, основанной на мобильности, мифе о воинской доблести и власти над людьми, и латинской культуры, основанной на религиозно-литературных компонентах, административных компетенциях, ценности латифундий и традиции власти над территорией.

Таким образом, в первые века средневековья сформировался смешанный правящий класс, состав которого варьировался в зависимости от областей франкского господства (более латинский в Аквитании, более германский в Австразии, с сильным бургундским присутствием в Бургундии, особенно сбалансированный в Нейстрии), но однородный с точки зрения утраты интенсивности этнических особенностей: некоторые семьи, являвшиеся результатом смешанных браков, давали некоторым своим детям германские имена, а другим — римские, как бы оставляя своим потомкам все возможности для различных карьер.

Новый средневековый правящий класс с трудом, но успешно сумел придать социальной структуре и институтам гибридный характер: личные связи между людьми германской племенной традиции переплетаются с территориальными представлениями о власти. Вожди германцев по традиции знали, над какими людьми (племенами, семьями, отдельными лицами) они осуществляли свою власть, и не заботились о том, чтобы определить, над какими территориями и в пределах каких границ они правили: и все это было очевидно для народа, привыкшего перемещаться, жить за счет добычи и временных поселений. Напротив, римская традиция основывалась на муниципалитетах и провинциях с четким территориальным определением: и эти территориальные концепции преобладали в латино-германском столкновении, потому что они были необходимы для управления новыми политическими образованиями, характеризующимися стабильностью поселений и сосуществованием в одних и тех же регионах разных народов, умиротворенных между собой.

Этот гибридный характер — настоящее «государство» римского вдохновения, но с множеством элементов традиционного германского общества в его составе — является доминирующей чертой Каролингского королевства. Именно благодаря этому гибриднему характеру, благодаря тонкому, но удачному балансу между различными компонентами, институты, сформированные в тот период, оказали значительное влияние на последующие столетия. Мы говорим «королевство», а не «империя», потому что историки уже переоценили значение 800 года и знаменитой императорской коронации Карла Великого. Это не было датой рождения «империи» как конкретной реальности: императорское достоинство кажется прежде всего данью уважения «личности», которая объединила и силой обратил в католицизм Европу. Титул императора означал лишь обогащение символических и религиозных обязанностей неизменного владельца *regnum Francorum*. После приобретения императорского достоинства в функционировании франкского господства не произошло никаких изменений. Определение «империи» представляло собой римское наследие, которое каролинги передали последующим векам, но в целом оставалось абстрактным понятием. Франция и Англия всегда оставались за его пределами. Кроме того, тот, кто осуществлял власть над Германией, Италией и Бургундией, делал это как «король», а не как император. Отониды в X-XI веках и Фридрих Барбаросса в XII веке осуществляли власть в Италии не как чрезмерно ревностные императоры и, что еще хуже, как завоеватели: более того, именно тот, кто был коронован «королем Италии», получал также титул *императора*, который был, таким образом, формальным следствием конкретной власти над Итальянским королевством.

5

Уравнение «Средневековье — феодализм»

Средневековье часто называют «феодальной эпохой», используя это определение как качественный эквивалент хронологического. Поэтому для ясности необходимо обратиться к истории понятия феодализма. Революционеры, составившие *Rapport fait au nom du Comité des droits féodaux* le 4 septembre 1789, продемонстрировали, что они хорошо знают, что только права, вытекающие из феодально-вассальных договоров, были «феодальными правами», но также заявили, что уже тогда «феодальными» правами обычно назывались

банальности (то, что подданные платили сеньору за пользование мельницей, за сбор дров в лесу или за отвод воды), права на урожай, *барщина*, сеньорские налоги (то есть платежи за землю, полученную в управление), услуги, связанные с древней крепостной зависимостью: то есть все, что на самом деле зависело от обычая зависимости крестьян от местного сеньора или владельца земель, которые они возделывали. Этот документ является доказательством того, что понятие феодализма охватывало весь аграрный и сеньориальный режим (), зародившийся в средние века и сохранившийся, через постепенные преобразования, до эпохи Нового времени.

Формирование этого единого и общего понятия началось еще в XVII–XVIII веках и завершилось в 1727 году в книге графа Булавилье «История старого правительства Франции» (*L'histoire de l'ancien gouvernement de France*), где феодализм был определен как «*состояние цивилизации*» (*état de civilisation*). В 1748 году Монтескье (*L'Esprit des lois*) определил феодализм как пагубную систему, которая предусматривала различные виды сеньории — с разными владельцами — над одной и той же вещью или над одними и теми же людьми: он сожалел о том, что была утрачена единство политического руководства и возникла «правило, ведущее к анархии, и анархия, ведущая к порядку и гармонии».

Исходя из этих интерпретаций, феодализм был результатом раздробления государственного имущества и государственной власти в пользу военной и *земельной* аристократии; каждый из членов этой аристократии имел разный вес, но все они были скоординированы между собой узами подчинения и верности. До этого момента речь шла только о Европе и о могущественных. Вольтер, напротив, оценивал феодализм как систему, характерную для любого общества, в котором один народ военным путем подчинил себе другой, навязав ему свою собственную вооруженную аристократию. Следующий шаг сделал Вико, который интерпретировал феодализм как необходимую фазу во всех циклах развития цивилизаций, включая в свою систему все связи зависимости, даже невоенные, даже компенсируемые небольшими участками пахотной земли. В конечном итоге, из этой концепции феодализма не было исключено ничего, точно так же, как и в «феодальной пирамиде», которую современные медиевисты с трудом пытаются исключить из популяризации и преподавания.

Негативная оценка Адамом Смитом крупных неотчуждаемых владений баронов подготовила почву для Карла Маркса, который использовал термин «феодализм» для определения типа *земельной* организации и системы производственных отношений: в целом, «этапа», предшествующего капитализму. Это одно из марксистских понятий, наиболее эффективно переданных в общественную культуру. Таким образом, феодальная идея перемещается из юридическо-военной сферы в экономико-социальную, и под феодализмом понимается политико-экономическая зависимость и эксплуатация крестьян: не наемных рабочих, обязанных подчиняться и выполнять различные обязанности в силу того, что они зарегистрированы в крупном помещичьем хозяйстве.

Расстояние государственной власти и авторитарное подчинение крестьян в рамках феодальной экономики — вот две черты феодализма, унаследованные нашей культурой от XIX века. «Феодализм» стал почти синонимом «средневековья». Однако уже тогда несколько историков в своих полевых исследованиях пришли к выводу, что трудно найти феодальное владение в основе всего средневекового политического раздробления. Фюстель де Куланж, Генрих Бруннер и Жак Флах ограничили феодализм институциональной сферой вассально-благотворительных отношений.

Однако общему мнению историков противостояла постоянная удобство обобщающих интерпретаций. Макс Вебер в 1922 году и Генрих Миттейс в 1933 году представили

феодализм как этап в исторической эволюции, находящийся на полпути между опытом аристократической гегемонии и современным административным государством.

Определенный резонанс, особенно за пределами средневековья, имела интерпретация Отто Хинце, который в 1929 году предложил рассматривать феодализм как «форму правления» народов, которая использовалась вплоть до XIX века и заключалась в распространенном партикуляризме в контексте аграрной экономики и военного клиентелизма (), принятой народами, вынужденными прервать нормальную и постепенную эволюцию от племенных форм организации к государственным из-за определенных внешних обстоятельств.

Среди историков XX века очевидно различие между теми, кто придерживается диахронической точки зрения (подчеркивающей, таким образом, долгосрочные преобразования), и теми, кто специально изучает средневековье. Среди первых Арнольд Тойнби оказал большое влияние на англосаксонские исследования, сформулировав определение феодализма как этапа эволюции (то есть реакции на упадок, в ходе которого через процесс восстановления готовится возрождение); среди вторых основополагающее место занимает Марк Блок. Основатель *Annales* четко выделил вассально-феодальные отношения в строгом смысле этого слова, не выводя из них умножение королевских полномочий, и определил как нефеодальные связи зависимости низших классов в сельских поместьях. Сделав эти неоспоримые различия, Блок оценил вассально-благотворительные связи как особенность западного Средневековья и поэтому назвал свою синтетическую работу о центральных веках Средневековья «*La société féodale*» (Феодальное общество). Его ученик Бутруш, как мы уже видели, пошел еще дальше: он обнаружил истинную особенность средневекового общества в сеньориальных властях, сформированных более или менее спонтанно снизу, а не делегированных феодально сверху. В то же время другой великий медиевист, Франсуа-Луи Ганшоф, бельгийский ученик Пирнена, автор произведения, переведенного во всем мире, которое только в 1989 году было издано на итальянском языке, углублялся в изучение специфических характеристик феодально-вассальной институции франкского мира. С различиями лишь в деталях, мы находим далее, присоединившихся к этим позициям, большую часть французских медиевистов, всех немецких, а также, среди современных итальянских историков Средневековья, Джованни Табакко и Чинцио Виоланте.

Неспециализированная культура, напротив, по-прежнему привлекается экономико-социальной версией, основанной на идеях Смита или Маркса, концепции, используемой в не строго историческом смысле, и уж тем более не в средневековом. Экономическая теория феодальной системы Витольда Кулы, опубликованная в 1962 году, является примером прекрасной книги, основанной на истории Польши XVII века, которая оказалась весьма эффективной представлением хорошо проверенных механизмов эксплуатации земли и людей, а также включение в сферу «феодализма» — в явном противоречии с исследованиями медиевистов — любых политико-феодальных коннотаций латифундии. Есть конкретное объяснение, которое зависит не только от марксистского образования автора. К востоку от реки Эльбы, на территориях более поздней немецкой колонизации, долгое время находившихся под властью тевтонских рыцарей, в конце средневековья систематически использовалась рабочая сила, подчиненная сильным связям: крестьяне были экономически зависимыми, но также и подданными латифундиста, находясь в состоянии «второго крепостного права», которое просуществовало до начала XIX века. Эта поздняя и своеобразная реальность подсказала Куле разработку модели, считавшейся долговечной, со следующими характеристиками: латифундия как юрисдикционный остров, обязанность крестьян оказывать личные услуги на земле господина, ограничения на передвижение крестьян, сборы с поместий, связанные с осуществлением защиты и власти, а не только с

управлением земель. И все же ни одна из этих характеристик не может быть названа «феодальной», если сохранить для понятия «феод» институциональное значение, которое было присуще ему в веках, когда оно зародилось.

Бутруш объяснил в 1960-х годах в своей работе «*Seigneurie et féodalité*», что «культурный язык» «склонен определять этим словом любую передачу государственной власти»: он привел примеры «феодализма партий», «профсоюзов», «крупных землевладельцев», подчеркнув, что всегда спонтанно связывают идею феодализма с «раздроблением власти, внутренними распрями, развязыванием частных интересов [...], жестокими действиями и угнетающей силой». Примеры Бутруша по-прежнему актуальны, как и его предупреждения. Однако социологи и историки современного мира по-прежнему используют феодальную терминологию и концепции из общей культуры, а не из профессиональных исследований феодализма. Они проводят дополнительную операцию: поскольку этот магматический комплекс, который определяется как феодализм, должен, несмотря ни на что, иметь происхождение, и это происхождение не может не быть средневековым, они проецируют на все средневековье — а значит, на тысячу лет — этот смутный образ. Любые следы политического, экономического и социального устройства, которые можно отнести к этому своеобразному коллективному воображаемому образу, понимаемому под названием феодализм, интерпретируются как «средневековые пережитки». Даже если эти следы появились позже, в эпоху Старого режима.

Термин «феодализм» имеет две особенности, которые объясняют его судьбу: лексическую и концептуальную. Преобладающая лексическая особенность заключается в его своеобразии, в некоем временном экзотизме, который сильно отличает его от слишком вульгарного «помещичьего господства». Преобладающая концептуальная особенность — его *всеобъемлемость*: это ярлык с собственным названием, который применяется к широкому понятию, к неясной совокупности концепций, даже очень разных между собой. Идея феодализма является неотъемлемой частью идеи Средневековья.

6

Средневековье как детство Европы

Помимо последних веков средневековья, в наиболее распространенном представлении о Средневековье преобладают периоды, которые наше сознание склонно «ассимилировать», то есть искать в них что-то знакомое или сопоставимое с современными политическими и социальными явлениями. Речь идет о периодах, в которые предпринимались органичные попытки создания государства и общества, таких как IX век с Каролингской империей и, в Италии и Германии, переход между X и XI веками с династией «Отонов». Напротив, «негативные» периоды «беспорядка» не вызывают интереса: так, в раннем Средневековье видят только кризис римской модели, в XI-XII веках — чистое распад; и именно эти века смелый Роберт Фосье, развивая идеи, которые ранее принадлежали Марку Блоху, определяет как «детство Европы».

Понятие «Европа», зародившееся на островах Эгейского моря для обозначения материковой Греции, в средневековье становится носителем идей превосходства над всем внешним и

способствует формированию целого ряда образов разнообразия. Два упоминания о Европе, которые мы находим в произведении Беды Почтенного в VII веке, свидетельствуют о способности разрабатывать географические понятия, полностью отличные от политических: и это нормально для раннего Средневековья, которое не имело достаточно стабильной политико-территориальной конфигурации, чтобы превратить физическую географию в политическую. В следующем веке, VIII веке, монах из Толедо, продолжатель дела Исидора Севильского, представляет армию Карла Мартелла, победившую мусульман в Пуатье, как армию «европейцев»: битва, значение которой было подчеркнуто — как недавно указал Бернард Льюис — но подчеркнуто уже тогда ее первыми прославленцами. Однако в случае с монахом из Толедо интересно то, что он не хотел представлять это как победу франков, а как победу всей туманной цивилизации, объединенной христианской религией и противостоящей исламской экспансии: через Исидора остатки вестготской культуры стремятся размыть франкское господство над *societas Christiana*.

Но фактические ситуации, созданные политическими владениями, в конечном итоге навязываются и как ментальные рамки. Большая популярность термина «Европа» пришлась как раз на эпоху Каролингов: польский историк Сережский (в работе 1937 года) приводит более тридцати упоминаний этого термина в годы правления Карла Великого. Фульдские анналы доводят эту явную связь до крайности, используя термин «Европа» как синоним «владения Карла».

Сначала в культуре, возрожденной с IX века, в школах городских соборов и монастырских школах сельской местности понятия Европы появляются периодически, причем не без попыток использовать их в отрыве от великого каролингского владения и скорее в связи с этногеографическими соображениями. Таким образом, Европа является обширной родиной потомков Иафета (в противовес попыткам поселения потомков Сима и Хама); или — как в случае с Видукиндом — Европа является синонимом Запада, что не сильно отличается от версии, предложенной в X веке Константином Порфирогенетом, который определяет как «Европу» самые западные провинциальные округа (темы) Византийской империи.

Когда мы доходим до тысячелетней давности, между X и XI веками, развиваются процессы, которые придают Европе идентичность, одновременно устраняя любую гипотезу этнической однородности: гипотеза Яфета на самом деле никому не близка. И в глубине души идея «франкской» Европы также не имеет успеха. Кроме того, как можно было требовать такого от народа, как франки, сила которого заключалась именно в том, что он представлял собой федерацию различных германских племен (анзиваров, бруктеров, камавов, катов), не особо гордящихся своими особенностями, а также наиболее открытых для полной интеграции с латинским миром? Их кодом общения не была этническая гордость, и они не стремились утвердить этническое превосходство: они почти как бы продолжали объединять новые народы (бургундов, алеманов, баварцев, галло-римлян) в том же стиле, в каком ранее объединились сами, почти как бы сознательно выдвинув свою кандидатуру для координации общего наследия, которое можно было рационально развить.

Ключевым элементом этой конструкции было установление сосуществования двух четко выраженных и ранее диверсифицированных стилей жизни: племенного-военного германского мира и культурного-церковного латинского мира. Два образа жизни, два принципа социального превосходства, которые франки не только объединили, но даже возвели в ранг симбиоза, разрешив, как мы видели, галло-римлянам доступ к военной карьере и самим начав епископскую карьеру, которая уже тогда считалась престижной целью и социально влиятельной ролью; что было немалым достижением для народа, который в своем далеком прошлом, как и все германцы, устанавливал упрощенное

соотношение между военной доблестью, традицией военного командования и социальным престижем.

Таким образом, пост-каролингская Европа, Европа тысячелетней давности с ее примерно тридцатью миллионами жителей, действительно является обширной территорией с преобладающей каролингской традицией, но это не означает, что она характеризуется исключительным господством франков. Преодоление арианства и уже господствующее на Западе римское толкование христианского опыта привели к наложению идеи *societas Christiana* на западную область латино-германской синтеза. X век, доминируемый второй большой волной германских народов, присутствием венгров, перемещениями славянских народов, безусловно, создает своего рода европейскую солидарность: но интересно отметить, как свидетельствует летописец Эккерхард из Санкт-Галлена, что захватчики ни в коем случае не воспринимаются как «неевропейцы». Европа укрепляется как географическое понятие, но остается многогранным и эластичным понятием. Миссии по евангелизации создали условия, при которых европейцем считается тот, кто обращается в христианство, независимо от его происхождения, по той простой причине, что он вступил в *societas Christiana*.

В сердце старого каролингского владения формируются две большие культурные области: королевство западных франков, будущая Франция, где латино-германское столкновение произошло с определенным лингвистическим и культурным преобладанием латинского влияния, и королевство восточных франков, то есть германское королевство, где в том же столкновении преобладают элементы более чисто германского характера. Значимы годы правления германских королей из саксонской династии, то есть Отонов, потому что они уделяют особое внимание Востоку: такие регионы, как Богемия, Польша, Венгрия, сначала обращаются в христианство, а затем объединяются (хотя и с сильной автономией) в германскую корону, и на востоке создается славяно-магьярская полоса, которая тяготеет не к Византии, а к христианскому Западу. Это еще один элемент, который способствует тому, что Европа средневековья становится этнически многогранной, но при этом далекой от четких национальных кристаллизаций.

Тысячелетняя европейская культура была сформирована центрами пропаганды и распространения идентичности, совпадающими с монастырями и городскими епископскими школами. Эти центры были скорее островками, отделенными от своего местного контекста, но имеющими тесные связи между собой. Они не играли большой роли в определении различных культурных областей, в том числе потому, что их одухотворяли интеллектуалы, священнослужители и монахи, отличавшиеся большой мобильностью. Сами аристократические семьи, уже мобильные по причине своих военных обязанностей и поиска новых пространств для самоутверждения, имеют широкие и разнообразные горизонты в связи со своими религиозными обязанностями: аристократами являются последователи Ромуальда Равенского, которые отправляются в качестве миссионеров в Польшу XI века.

В средние века местные культуры постоянно вступают в противоречие с высокой культурой, стремящейся к научной однородности. Воспоминания о каролингской эпохе в основном служат памятью о единстве, и в некотором смысле сила этой памяти заключается именно в отсутствии единого жизненного центра, потому что это единство не навязывается европейской столицей, а интерпретируется и воспринимается как собственное рядом центров распространения. Таким образом, максимальной политической фрагментации — отличительной черте первых веков после тысячелетия — соответствует постоянно меняющаяся территория человеческих поселений, этнического преобладания, различных, но не фрагментированных культур, потому что каждая из них связана с единым прошлым,

которое продолжает легитимировать власть и облагораживать центры культуры. В конечном счете, тот, кто не апеллирует к каролингским или отонским формам в осуществлении власти (), не является легитимно могущественным, а тот, кто не действует в определенной преемственности со *Schola palatina* или с атмосферой *Renovatio imperii* эпохи Оттона, не заслуживает внимания с культурной точки зрения.

Крестовые походы играют противоречивую роль в отношении европейской идентичности. Они подчеркивают разнообразие исламского мира и, следовательно, придают единство абстрактной Европе, а главное, подчеркивают идею границы, за которой уже нет Европы. В то же время они способствуют более широкому распространению представлений о Европе, которые усиливаются этими оттенками разнообразия.

Здесь возникает одно из самых любопытных противоречий западной христианской культуры. Европа и средневековый универсализм вступают в конфликт. Действительно, утверждение идеи Европы даже сдерживается христианским универсализмом, потому что (и это нетрудно понять) Европа — слишком ограниченное поле для амбиций *societas christiana*, которая хочет быть именно универсальной. И если в предыдущие годы Европа казалась большим полем для евангелизации, то открытие новых миров подчеркивает ее малость.

На том же уровне, но с изменением ситуации, находятся некоторые светские проблемы. Вспомним, например, Данте Алигьери. Данте десятки раз использует понятие «Европа», но, поскольку он считает своим долгом противостоять теократии и полагает, что Европа слишком папская, он обращает свои мысли к миру в целом, миру, где многообразие интересов не позволяет принимать утверждение римского понтифика как данность.

Среди ускорений и откатов, а также со всеми противоречиями, о которых говорилось выше, можно сказать, что в целом XI-XIII века не были веками, в которых европейская идея пользовалась особым успехом. В тот период люди культуры отмечали большее процветание других концепций. Большую силу приобретают, с одной стороны, понятие «священной римской империи», а с другой — первые проявления «национальных» идей. В первом случае речь идет об идее, подражающей прошлому, особенно каролингскому и османскому, а во втором — о констатации сфер цивилизации с преимущественно лингвистическими коннотациями.

Идея Европы возрождается в течение XIII века в форме оборонительного объединения из-за *timor tartarorum*, страха перед монголами, который имел бы кратковременный эффект, если бы не был впоследствии переработан в страх перед турками после утверждения династии сельджуков в исламском мире и экспансионистских настроений их владычества.

XIII век также является золотым веком картографии и географической науки. Начинают различать континенты и утверждается новое, полностью географическое понятие Европы, менее нагруженное другими значениями и более пригодным для использования. В этой области исследований и размышлений происходят некоторые ускорения: в XIII веке Бартоломео Англичанин представляет Европу как единое целое умов и впервые приписывает ей своего рода культурную столицу, отождествляя ее с Парижем (местом расположения первого крупного университетского центра теологических и философских исследований). В XIV веке Джордан из Севера формулирует прогноз о будущем полном завоевании мира европейцами.

В конце XIV века, с победой турок в Косово в 1389 году, происходит интересное, граничащее со странностью, отделение самой западной части Европы. Проекция Испании, Португалии, Франции и Англии в сторону Атлантики в некотором роде была подготовлена отвлечением

крайнего Запада от опасностей и неприятных дисбалансов на восточной границе: отвлечение, временное безразличие, которые помогают объяснить новую атлантическую проекцию и на которые до сих пор не обращали достаточного внимания.

С другой стороны, даже при этом сильном политическом и культурном разделении, именно в последние века Средневековья, между XIV и XV веками, сформировалось понятие Европы, схожее с современным: уже не только географическо-эрудированное, но и общеупотребительное, которое можно без риска использовать, поскольку оно является выражением своего рода «ограниченного универсализма», не ущемляющего индивидуальные суверенитеты. С тех пор Европа заслуживает определения, данного в недавнее время Криштофом Помианом: «Поле противостоящих сил». Очень эффективное определение, которое подчеркивает как постоянные тенденции к внутреннему конфликту, так и параллельные тенденции к единству, рождающиеся из своего рода сознания идентичности по отношению к внешнему разнообразию. И этническое разнообразие уже не обязательно имеет угрожающий облик Востока. В дневниках мореплавателей, в первых хрониках, связанных с географическими открытиями, проступает инаковость коренных народов, инаковость мирная и поддающаяся подчинению, но все же инаковость. По сути, она скорее способствует формированию сознания, а не страху, заставляет европейскую культуру лучше организовываться, готовиться к экспорту.

Эта позднесредневековая Европа, богатая разнообразными идентичностями, но также являющаяся «полем битвы противоположных сил», не поддается доказательству этнического происхождения наций, столь дорогого антропологам-примитивистам, таким как Клиффорд Гирц (те, кто ищет в национальном духе черты, запечатленные еще до Старого режима и, следовательно, неизбежные в последующих исторических событиях), и столь же любимое в глубине души антифункционалистом-социологом Энтони Смитом, автором недавней и, возможно, слишком успешной книги, в которой предполагается существование «предсуществующей этнической мозаики» в отношении Нового времени, мозаики, которую мы, медиэвисты, внимательно изучающие эти века, не можем найти в тех формах, которые ей приписываются. Смит развил концепцию, уже используемую социальными учеными, «*mythomoteur*»: «конститутивный политический миф», основанный на общих воспоминаниях более или менее крупных сообществ, который укрепляет идею нации. Только в отличие от Эрика Хобсбаума и других так называемых «модернистов» (для которых нации формируются поздно, между XVIII и XIX веками, на основе конкретных «изобретений» воображаемого прошлого), Смит считает, что этническое происхождение является реальным и неоспоримым элементом, который в основном можно отнести к средневековью.

Мы должны быть осторожны: на протяжении веков средневековье оказывалось идеальным резервуаром для *мифотворцев*, хотя очень редко оно действительно содержало исторически приемлемые реальности. Эпопея Капетингов, изученная Лемаринье, является династической, но используется для придания французской нации прочного прошлого: это случай сильной, победоносной нации. Катаральный опыт и культура трубадуров, напротив, служат для придания автономной идентичности окситанским движениям, изученным в их недавних проявлениях Аланом Туреном: это случай до сих пор проигрывающей нации, состоящей из требований и желаемого изменения политической географии.

Неприемлемо, чтобы Средневековье рассматривалось как причал, с которого можно ловить, с помощью удобных, часто недокументированных речей, легитимные истоки великих национальных образований XIX века или неизвестные корни регионалистских требований с неонационалистической направленностью. Этот мир следует рассматривать изнутри (), и,

если не рассматривать его как инструментальный паразит, он дает нам очень мало из того, что пропагандисты и неисторики хотят в нем найти.

В средние века, конечно, развивалась идея Европы, но мы видели, с какими трудностями и противоречиями это происходило: поэтому нельзя говорить о «европейском» средневековье как об исправлении последующего распределения. В средневековье сформировались некоторые лингвистико-культурные области и политические образования, в целом мало совпадающие с этими областями, с преобладающим династическим содержанием, зародыши суверенных государств, которые Марк Блок верно определил как институты, наиболее глубоко противоречащие духу рода (поскольку они были территориально и социально широкими, а не только проекциями сфер влияния династий). Таким образом, средневековье мало «национально», не только потому, что оно было очень фрагментированным, но и потому, что в линиях реорганизации, которые проявились в его последние века, нет ничего призвательного: в проекте новых государств, в конечном счете, не было ничего заранее сформированного в предполагаемых долгосрочных идентичностях народов, которые проживали в них ранее. Только финалистический подход, историографически наивный или оппортунистический, в любом случае недопустимый, может объяснить такое обращение к средневековому тысячелетию. Финализм, неприемлемый независимо от того, с какой ценностью он исходит: желаемая объединенная Европа будущего, упрочившиеся в новейшей истории нации, новые регионализмы федералистского типа. Все может служить, или почти все, но не следует беспокоить историю.

Средневековье можно оценивать по тому, что в основном выделяют историки и преподаватели, а не для инструментализации политиками: я имею в виду тенденцию к этнической интеграции. Как мы видели, за редким исключением, дискуссия о латинстве и германстве уже ушла в прошлое, и сегодня считается, что истинной движущей силой того векового перехода была латино-германская синтеза. Синтеза, тем более удачная, чем меньше она сдерживалась сопротивлением и осторожностью. Вот почему распространение синтеза, который больше всего повлиял на Европу, было не готским (которые оставляли римлянам бюрократические и административные функции, сохраняя за собой монополию на военные действия), а гораздо более полным и целостным франкским, особенно успешным в регионах галло-римской цивилизации (юго-центральная Франция), где встреча кельтов и латинян уже приучила социальный контекст к конкретным сближениям цивилизаций.

Кроме того, возможно, это совпадение, но некоторые из политических образований, которые после 1000 года имели наибольшую преемственность, связаны с последующими этническими синтезами: княжество Киевское, то есть Русь, состоящая из славян и варягов из Скандинавии, имеет менее бурную и более линейную историю, чем полностью славянская Польша; королевство Уэссекс, то есть Англия, в которой смешались англосаксонская, датская и нормандская кровь, более успешно, чем соседние области (такие как Уэльс и Шотландия), в которых по-прежнему преобладает кельтский компонент; хорошо известно о большом процветании Северной Италии, где уже в X веке латиняне, лангобарды и доминирующее франкское меньшинство достигли очень продвинутого слияния, по сравнению с Южной Италией, где на протяжении веков лангобарды, латиняне, византийцы, арабы и норманны вступали в конфликт или сближались, но всегда сохраняли сильную идентичность.

С экономической точки зрения, средневековье, несомненно, характеризовалось тяжелыми условиями жизни: непрекращающимися войнами, неустойчивым проживанием населения в различных регионах Европы, утратой функций городов, сокращением площадей возделываемых земель (в пользу лесов и болот, которые во многих местах вновь завоевали территорию), сильное сокращение (хотя и не полное исчезновение) торгового обмена и денежного обращения были одновременно причинами и следствиями постоянного сокращения населения Европы, которое в VIII веке (по оценкам, которые из-за отсутствия источников являются в значительной степени гипотетическими) должно было составлять от 15 до 20 миллионов человек, по сравнению с более чем тридцатью миллионами в поздней Римской империи, до того как десяток эпидемий чумы обрушился волнами на регионы, выходящие на Средиземное море, с середины VI до середины VIII века.

В VII и VIII веках северные и восточные регионы Европы (соответствующие современной Германии и славянским странам) были менее затронуты кризисом, что подчеркнуло менее латинский и более германский характер европейской цивилизации тех лет. Но и в этих районах (отчасти потому, что они всегда были менее заселены, отчасти потому, что, как и везде, произошло сокращение посевов) в ландшафте явно преобладала не возделанная земля: леса и джунгли от побережья Атлантического океана до Дуная, в основном степи от современной Венгрии на восток. Леса покрывали большую часть территории, а внутри них, как островки заселения, располагались города и деревни. Деревни были населенными пунктами различной формы и размера. За пределами заселенной и почти всегда обнесенной стеной части простиралась возделываемая земля, принадлежащая деревне, с полями (преимущественно предназначенными для выращивания зерновых), виноградниками и лугами. Еще дальше находилась полоса общинных земель: пастбища и леса, ухаживаемые общиной (для сбора листьев, веток и дров или для выпаса свиней, которые питались желудями дубов). За этими тремя зонами (населенными пунктами, возделываемыми землями и общинными землями) простирался лес, который посещали только изредка и использовали для охоты.

Именно в отношении таких реалий Карл Великий принял законодательные меры: не следует путать аллодиальные земли (от латинизированного термина *alodium*, который, как и древнегерманское *al lod*, в документах того времени обозначал полную собственность) с бенефициарными землями (очевидно, потому что владельцы феодалов уже тогда имели тенденцию считать их своей собственностью); власть имущие королевства не должны были требовать от крестьян *барщины* (то есть трудовых услуг) в качестве публичных налогов, а только в качестве платы за земли, предоставленные в концессию (очевидно, потому что уже случалось, что государственные чиновники пытались извлечь выгоду из управления своими латифундиями, а крупные землевладельцы пытались получить услуги феодального характера). Одной из целей было попытка контролировать недисциплинированность и алчность крупнейших семей, как показывает *Capitulare de villis*: этим законом Карл Великий позаботился об упорядоченном управлении *curtes* королевской «казны» (то есть

государственного имущества, короны), осуждая склонность многих аристократов королевства использовать их в личных целях.

Из документов известно, что помимо короля, другие крупные землевладельцы также имели *curtes*. Что такое *curtes*? Почему средневековая экономика часто отождествляется с системой *curtense*? Следует ли рассматривать систему *curtense* как форму «закрытой» экономики? И правомерно ли по-прежнему определять аграрную экономику последних веков средневековья как *curtense*?

Правда, что почти все крупные латифундии раннего средневековья до первого века после тысячелетия были организованы в *курты*: развиваясь из древних римских *вилл* (и иногда по-прежнему называясь именно *виллами*), они основывались на принципе смешанного управления землями. Одной частью непосредственно занимался крупный землевладелец, другая делилась и передавалась в управление колонистам. Часть, которой занимался непосредственно владелец, называлась *dominicum* или *pars dominica* (потому что хозяин назывался *dominus*, термин, который, как мы увидим, впоследствии обогатился дополнительными значениями) и может быть определена как «феодалный заповедник»; часть, которой управляли опосредованно, называлась *massaricium* или *pars massaricia*.

В *dominicum* господин в основном использовал труд крепостных: привлечение наемной рабочей силы было очень редким явлением, и известны лишь несколько случаев в Северной Европе, в частности на Британских островах (которые с точки зрения управления крупными латифундиями имеют свою собственную историю, поскольку характеризуются более мелким и компактным аграрным хозяйством, *манором*).

Колонисты *массариция* платили аренду (всегда на очень длительный срок, часто пожизненную или наследственную) продуктами или деньгами (часто и тем, и другим) и выполняя определенное количество рабочих дней на *доминикуме*, известные *каторжные работы* (на латыни *corvaria* или *corvata* соответствовали понятию «принудительный принос»). Таким образом, наиболее распространенными были сельскохозяйственные *corveas*, а не те, которые требовал сеньор для содержания замка или дороги. Они не требовались от всех жителей района, не были политическим или феодальным обременением, а представляли собой форму оплаты аренды крестьянами, которые имели экономическую связь с сеньором земли.

Благодаря такой форме управления *dominicum* могло позволить себе использовать незначительную рабочую силу (в человеческом и материальном выражении), дополняя ее услугами, предоставляемыми колонистами *massaricium*: это характерный элемент того, что часто определяется как «куртская система». Идея о том, что *curtis* и, следовательно, «система» *curtense* предполагали закрытую, самодостаточную экономику, основанную на бартере, с обменом исключительно натурой, без денежного обращения и без влияния рынка, была очень популярна в конце XIX века (Альфонс Допш). Она была вновь поддержана в начале XX века так называемыми «минималистами», но была опровергнута исследованиями последних десятилетий, которые продемонстрировали скорее поверхностное распространение еженедельных рынков в течение X века; кроме того, эта идея не могла согласовываться с доказанной топографической фрагментацией (на несколько территорий деревень) одной *curtis*. Правда, как показывают некоторые источники (например, *Capitulare de villis*), по крайней мере теоретически и в качестве проекта, администраторам крупнейших *curtes* предлагалось стремиться к самообеспеченности, но эти цели редко достигались.

Часто все формы оплаты земли по налогу (натурой, деньгами, трудом) сосуществовали: преобладание той или иной формы было нерегулярным. Нельзя сказать, что в раннем

средневековые явно преобладали доходы натурой, постепенно заменяемые доходами деньгами: были некоторые этапы в средние века, когда, благодаря особым преимуществам, которые рынок предоставлял феодальной экономике, феодал предпочитал получать продукты для торговли, конвертируемые в более значительную сумму денег, чем та, которую он получил бы от прямых денежных выплат со стороны крестьян. В конечном счете, не существует упорядоченной эволюции от «естественной экономики» к «денежной экономике», как пытались верить в прошлом веке.

Некоторая возможность для крестьян располагать деньгами, часто подтверждаемая, подтверждает существование небольших местных рынков, на которые крестьянская семья иногда доставляла свою продукцию: в годы хороших урожаев или также, возделывая небольшие участки земли, отвоеванные у пустоши, без ведома сеньора *куртиса*. Расширяя по собственной инициативе и за счет жертв, а в некотором смысле и незаконно, свою собственную базу для выращивания сельскохозяйственных культур, крестьянская семья также располагала небольшой долей продукции, которая ускользала от контроля феодала и могла служить для повышения уровня потребления семьи или для обеспечения небольшого дохода.

Крестьяне получали от господина землю под возделывание по преимущественно неписаным, но от этого не менее торжественным и эффективным договорам. Во всяком случае, в первой половине истории *куртиса* земледельцы *массариция* были в большинстве своем юридически свободными. Поэтому, сильно упрощая, в принципе можно отнести рабский труд к *доминикуму*, а свободный труд (по-латыни *ingenuilis*) — к *массарицию*: но это ситуация изменчивая, которая меняется в связи с постепенными изменениями в структуре *куртиса*.

Мелкие землевладельцы (называемые алодиальными землевладельцами или «алодиерами»), еще очень многочисленные в раннем средневековье, чувствовали себя постоянно угрожаемыми: у них возрос интерес к поддержке со стороны крупных землевладельцев, которые имели частные вооруженные отряды, способные обеспечить минимальную защиту, поскольку они укрепили свои поместья и могли предоставить в их распоряжение большие убежища и склады для людей, животных и продуктов в случае опасности. Многие мелкие *алодиеры* предпочли отказаться от полного права собственности в обмен на гарантию того, что они останутся арендаторами на своих землях, и в обмен на возможность получить защиту великого сеньора и воспользоваться укреплениями и другими оборонительными сооружениями великой *куртис*. Они «поверили» латифундисту, доверились ему. Эти «посвященные» отдавали свою собственность латифундисту, сохраняя «полезное владение» (то есть право пользования): таким образом, они становились арендаторами крупного землевладельца, их земли становились частью *куртиального* комплекса. Хотя они по-прежнему оставались в их распоряжении как крестьяне, их владения способствовали увеличению *massaricium*. Эта форма увеличения *курт*, очень значимая в X веке, является дополнительным объяснением некомпактной формы многих из них: расширения *массариция* распространялись там, где другие крестьяне решили стать колонистами. Мелкая собственность никогда не исчезала полностью, но *курт* крупной собственности, безусловно, переживали фазу расширения.

Достигнув пика развития, *куртсы* начали трансформироваться. *Доминикум* сокращалось, а *массарициум* расширялся. Таким образом, средневековая деревня все больше характеризовалась не только свободными поселенцами, но и двумя различными категориями крепостных: «домашними» крепостными, которые работали под непосредственным руководством господина, обеспечивавшего их едой и жильем, и «*casati*»,

которым доверяли части *массариция* и которые уже были схожи со свободными поселенцами.

Освобождение крепостных (в некоторых случаях коллективное), перемещение многих из них в *массарицию* (где они имели большую экономическую и аграрную инициативу), отказ от полного права собственности со стороны многочисленных мелких *землевладельцев*, вошедших в *курт*, обязанность принимать рабский *статус* поместий со стороны *свободных* безработных и, прежде всего, сосуществование в одних и тех же деревнях семей «свободных» и семей крепостных, к которым господин стремился применять (когда ему удавалось сделать это без протестов) одинаковые налоги, определили определенную тенденцию к гомогенизации крестьянского положения. Учитывая тот факт, что ни один крепостной больше не был собственностью господина (в отличие от раба в древнем мире), и заметив, что многие свободные люди увидели ухудшение своего положения (с вынужденным принятием условий, сходных с рабскими), Марк Блок верно определил «крепостное право» как неоднородное и неясные условия, в которых находились многие земледельцы средневековых полей.

Это не исключает того, что многие *свободные люди* (мелкие землевладельцы или поселенцы, обладавшие личной и явной юридической свободой) были полностью свободны, без всякой путаницы. С другой стороны, следует исключить, что средневековые деревни были заселены однородными массами «крепостных». Крепостные — это историографическая категория XIX века, которая имела большой успех, но, напротив, заслуживает широкого уточнения. Некоторые редкие свидетельства *adscriptus glebae* или *adscripticius* (то есть крестьянин, юридически связанный со своей землей) попали в поле зрения первых исследователей сельской истории средневековья и даже после исследований Блоха повлияли на их выводы. То есть они представили себе, что это «крепостное право», о котором говорил Блок, касалось людей, состояние которых было лучше, чем у рабов, но чья основная ограниченность свободы заключалась в обязанности их и их наследников возделывать поля, к которым их жизни были конститутивно прикованы.

За исключением нескольких случаев, когда целые группы крестьян были действительно привязаны к земле (известны подобные ситуации, например, в окрестностях Болоньи и Верчелли), представление о том, что средневековые поля были заселены и возделывались большой однородной категорией крепостных, является глубоко ошибочным. Некоторые из них были крепостными, как мы уже видели, и поэтому их свобода была ограничена их правовым статусом (*ограничена* во всем, а не только привязкой к земле). Многие другие были свободными поселенцами. Даже когда их преследовали в суде (феодалном или, как мы увидим, муниципальном) за то, что они покинули свои поля, их не преследовали и не осуждали как «крепостных», восставших против привязки к земле; нет: их преследовали за то, что они нарушили договор, заключенный на двадцать девять лет или на всю жизнь. Сеньоры не хотели, чтобы их планы были нарушены: часто они соглашались на пожизненный или даже наследственный договор аренды по просьбе главы крестьянской семьи. Неожиданный побег « » мог оставить поля непродуктивными на целый сезон (или даже дольше, в периоды нехватки рабочей силы), против чего, очевидно, защищались сеньоры.

Сельская мобильность в средние века не всегда заключалась в «беглых крепостных»; было много *свободных людей*, которые, преодолев определенные условия, превращавшие их в крестьян, предпочитали сбежать от ритма жизни большого поместья, чтобы искать счастья в других местах, в отдаленных регионах, возможно, для распашки земли, или в городах, где они могли заниматься различными видами работ. Но это были не «крепостные», которые

больше не принимали свой правовой статус, а свободные люди, нарушившие соглашение, и именно за это, а не за то первое, они подлежали судебному преследованию.

Процессы расширения *massaricium* и ограничения *dominicum*, однажды начавшись, уже не останавливались. Крупные землевладельцы оценили удобство иметь очень ограниченный феодальный запас, предназначенный исключительно для производства полезных для феодальной семьи продуктов (в основном высокоценных, таких как вино), что давало преимущество не заниматься непосредственно слишком большим количеством зависимых работников и рассматривать обширное *massaricium* как зону, из которой можно было получать продукты для отправки на рынки, а также фиксированный и гарантированный доход. Они пытались, насколько это было возможно, заключать соглашения с фиксированной платой (а не с переменной долей от производства): таким образом, в трудные годы или даже в годы настоящего голода жертвы приносили только крестьяне (которые в любом случае должны были платить сеньору налоги натурой и деньгами), а экономика сеньора практически не страдала. Ограниченные размеры *dominicum* делали в целом барщину сверхтонкой, и сеньоры требовали уплаты полной ренты натурой и деньгами (а не трудом).

Этот процесс развивался в течение XI века. В некоторых районах Европы *curtis* исчезла уже в первые десятилетия, в других — только в конце XI — начале XII века. Историки утверждают, что понятие *curtis* не исчезло, а «территориализировалось». Что это означает? Это означает, что *curtis* перестала быть единой хозяйственной единицей и стала конкретным местом или конкретной зоной. В этом втором, более ограниченном значении слово «*curtis*» сохранилось в топонимике, часто до наших дней: Cortemaggiore — это название места, которое в свое время было центром самой обширной *curtis* в определенной области; Corteregia — это название места, соответствующего *caput* древнего судебного двора короля; Cortenuova дает название центру *curtense*, возникшему позднее, чем другие в регионе. Центр *curtense* по-прежнему оставался, как правило, важным помещичьим имением, но уже не был *curtense* в строгом смысле этого слова, поскольку больше не являлся центром аграрного и организационного распределения между прямым и косвенным управлением.

Восстановление городов, укрепление производственной и финансовой инициативы, расширение слоя, который мы можем назвать «буржуазным», — вот другие составляющие того, что в прошлом называли «торговой революцией» XII и XIII веков. Более того, если и можно говорить о «кризисе XIV века», то именно потому, что в предыдущие два столетия Европа продемонстрировала экономический динамизм, который был серьезно прерван не только локальными войнами, но и голодом и эпидемиями. Но, возможно, ситуация IX–XI веков, проиллюстрированная описанием функционирования куртиса, поможет переосмыслить «революционный» характер экономического и торгового подъема. Деньги никогда не переставали обращаться, в *куртисе* не господствовала закрытая экономика «», рынки функционировали, и на них не практиковался бартер, мелкая собственность никогда не переставала существовать, рабочая сила была мобильной, а свободные люди не были низведены до положения «крепостных». Просто и постепенно, в XII веке, «прибыль», извлеченная из сельскохозяйственного производства (прибавочная стоимость первоначального накопления), начала реинвестироваться в новые предприятия и торговлю, часто самой земельной аристократией, которая не всегда ограничивалась увеличением собственного роскошного потребления, но и новыми городскими сословиями, которые часто занимались одновременно сельским хозяйством, ремеслами и финансами.

Церковно-религиозные темы, пожалуй, являются теми, по которым менее уместно иметь единое представление обо всем средневековье. С другой стороны, именно по ним были построены неправомерные корреляции: между средневековьем и идеей власти мракобесной и угнетающей Церкви со стороны просвещенного и светского XVIII века; между средневековьем и высшими уровнями духовности со стороны современной католической культуры, которая также имела анахроничную тенденцию интерпретировать как «исключения» или «кризисы» все средневековые поведения, несовместимые с ее собственной религиозной чувствительностью. Общая культура, обусловленная обеими частичными интерпретациями, в любом случае сохраняет однородный образ «христианского Средневековья» и склонна игнорировать многие интересные аспекты и разнообразие средневековых религиозных опытов. Существовали различные верования, которые не были просто пережитком языческих культов, и различные формы христианства.

Остановимся теперь на католическом мире. Для начала, когда речь идет о епископах и монастырях, полезно пояснить, что прилагательное «церковный» обозначает все, что имеет отношение к организации церквей и «духовной опеке» *societas christiana*, в то время как прилагательное «религиозный» имеет более общее значение. Епископские кафедры, архипресвитерии, приходы или часовни с алтарем и купелью являются «церковными учреждениями», а монастыри — нет (потому что, особенно в первые века средневековья, было уже много, если один из монахов получил священническое рукоположение и мог «служить», то есть отправлять мессу и совершать таинства). Когда нужно указать все учреждения, как церковные, так и монашеские, следует использовать более общее понятие «религиозные учреждения». Необходимо было бы привести еще много подобных уточнений, но ограничимся основными.

Священников можно также называть «клериками» (от лат. *clerici*) или пресвитерами (от *presbyteri*), а средневековые монахи в большинстве своем таковыми не являются (если только они не получили священническое рукоположение, как мы уже видели): они являются мирянами, которые решили вести жизнь молитвы не в одиночестве (в этом случае они были бы «отшельниками»), а в общине («ценобит», поэтому их также называют «ценобитами»), и подчиняясь монашескому правилу (наиболее распространенным является правило святого Бенедикта).

Все центры монашеской жизни можно определить как «монастыри», но «абатствами» называются только те, у которых есть собственный аббат: монашеская община с несколькими монахами, связанными с удаленным материнским монастырем (в средние века Клуни был центром с наибольшим количеством общин, аббатом которых для всех был аббат материнского монастыря), может называться «монастырем» (или «приоратом», если им управляет приор), но не «абатством». Например, в первые века после 1000 года Сан-Микеле-делла-Кьюза был аббатством, а Новалеза (более древний и столь же престижный) им не был (он был приоратом), потому что зависел от аббата Бреме.

Мендикантские ордена проповедников и меньших братьев, доминиканцев и францисканцев, не определяются как монахи, а как «монахи» (от *fratres*, братья), потому что их особенностью было не следование монашеским правилам (предполагавшим жизнь молитвы вне мира), а новые правила, основанные на социально-религиозном ангажменте в мире. Штаб-квартиры этих орденов не называются монастырями, а «конвентами», термин, который, напротив, не подходит для прежних бенедиктинских монастырей.

Термином «каноники» обозначаются верующие, ведущие общий образ жизни в соответствии с каноническими правилами (самым известным из которых является правило святого Августина), отличными от монашеских и более ориентированными на помощь и пастырскую деятельность: каноники, как и монахи, могли быть мирянами, но часто были священнослужителями, как, например, каноники собора, которые сотрудничают с епископом в его деятельности. Поэтому всегда неправильно (хотя и часто, например, в туристических путеводителях) называть «монастырем» капитул каноников, как неправильно называть «церковью» небольшой монастырь без алтаря.

Плебеи (архипресвитерии) — это территориальные церковные подразделения внутри епархий (хотя и более обширные, они являются предшественниками приходов), и это деление было особо учтено в законодательстве Карла Великого, который ввел упорядоченную структуру епархий и одновременно систематическую группировку этих епархий под высшим контролем митрополита или архиепископа.

Термин «кардиналы» не относится к «архиепископам» (или «митрополитам»), то есть к наиболее важным епископам, правящим в нескольких епархиях и имеющим других епископов в подчинении. «Кардинал» — это священнослужитель (не обязательно епископ), которому доверена одна из «кардинальских церквей» епархии Рима: с первых десятилетий XI века, после известной реформы папы Николая II, необходимо было быть титуляром одной из этих «кардинальских» церквей, чтобы войти в состав коллегии выборщиков, ответственной за избрание понтифика (понтифик или папа был именно епископом Рима).

Помимо этих элементарных терминологических уточнений, следует внести много исправлений в общее представление о религиозной истории средневековой Европы. Только с XII века папство стало монархическим, только с этого времени папа стал религиозным лидером всего католического христианства, как и в современную эпоху. Но до глубокой половины XI века ситуация была иной: папа был лишь епископом Рима, который, да, имел «примат чести» (то есть имел решающее слово в теологических вопросах), но не управлял Церковью. Каждая епископская кафедра была суверенной, эти кафедры координировались в митрополиях или архиепархиях, часто формы церковного управления решались на региональных собраниях нескольких епископов (соборах или синодах) и могли принимать решения, даже противоречащие решениям Рима или епископов другого региона. Это объясняет, почему жизнь христиан могла быть разной в разных частях Европы, почему, например, в раннем средневековье в некоторых регионах священнослужители могли вступать в брак, а в других — нет, в некоторых епископы могли сражаться, а в других — нет. Это также объясняет, почему даже в XII веке церковные нормы (решения вышеупомянутых не всеобщих, а значит, не «вселенских» соборов), называемые «канонами», были настолько многочисленны и противоречивы между собой, что побудили великого монаха-юриста Грациана, попытаться упростить и навести порядок с помощью своего *Decretum*, также называемого *Concordantia discordantium canonum* (соглашение о противоречивых канонах). По сути, до конца XI века следовало бы говорить о «церквях» во множественном числе, а не о «церкви»: Римская церковь стремилась выступать в качестве координатора христианства, но до 1000 года это не было обычной практикой.

Великий папа XI века Григорий VII прославился своим конфликтом с империей и Генрихом IV. Но его самым успешным достижением было другое: он успешно завершил «реформу» церкви, превратив ее в централизованную и монархическую церковь, в которой все епископы подчинялись Риму. Это в значительной степени отвечало требованиям рационализации (которые позже были возобновлены в *Decretum* канониста Грациана). Но это было также ответом на новые представления о религиозной жизни и церковной организации, связанные со зрелостью христианизации Европы. Некоторые движения верующих (такие как «патарины» в Ломбардии) были особенно строги к образу жизни своих епископов и священников. Некоторые папы, и в частности Григорий VII, интерпретировали эти требования, предполагая, что строгая координация всего христианского мира позволила бы лучше противостоять отклонениям. Симония (купля-продажа церковных должностей) была отклонением, с которым боролись в то время, как и николаизм (сожитительство священнослужителей): хотя и то, и другое не были результатом коррупции или дегенерации древних обычаев, а скорее относительно нормальными практиками в мире, привыкшем рассматривать алтарь как служение, а священство как призвание, да, но также и как профессию, а брак священнослужителей как практику, от которой недавно отказались. Когда велась полемика против церкви, «попавшей в руки мирян», не осуждалась дегенеративная новизна, а атаковалась традиция: например, «частные церкви» (основанные аристократическими семьями, которые затем гарантировали их выживание) были важной услугой, которую светские основатели обеспечивали в районе, где они возникали, они всегда существовали, и с религиозной точки зрения не имело большого значения, что основатели действовали с целью повышения своего престижа, а затем гарантировали назначение священников, которые становились ответственными за такие церкви.

Некоторые церковные интеллектуалы XI века и их выдающийся представитель, папа Григорий VII, успешно ориентировались на «реформу», а не на «реставрацию». То есть они вводили настоящие нововведения, но не пытались вернуть Церковь к предполагаемым идеальным формам функционирования (типа «евангельских»), которые никогда не существовали. Более того, некоторые типичные для раннего средневековья церковные элементы — такие как «частные церкви» — продолжали существовать, потому что общество в них нуждалось.

Превращение Римской церкви в бесспорный центр всего католического христианства было осуществлено Григорием VII в конце XI века. Многие епископы («антиреформаторские» епископы) пытались противостоять этому, но вопрос был закрыт в 1122 году с заключением Вормского конкордата между папой Каликстом III и императором Генрихом V: две великие всемирные державы признали друг друга и договорились о формах взаимной благодарности в отношении избранных епископов. Согласие короля было необходимо, потому что ни один епископ не отказался бы добровольно от публичных прав (регалий), которые он осуществлял над городами и их пригородами в основном с незапамятных времен, с тех пор, как первые франкские королевства нуждались в политическом и военном сотрудничестве с теми авторитетными личностями, которым граждане подчинялись добровольно.

Глубокая взаимосвязь между гражданской и церковной администрацией восходит даже ко второй половине VI века. С одной стороны, короли гарантировали церквям военную защиту и налоговые льготы, с другой — обычно вмешивались в епископские выборы, навязывая своих кандидатов. Эти епископы, происходившие из аристократических семей и пользовавшиеся большим авторитетом среди населения (по схеме, не отличающейся от той, что уже была проверена в галло-римских королевствах), были тогда очень близки к королевской власти, что еще больше способствовало выполнению их функций. В тех районах, особенно вокруг

городов, где они имели гегемонию, епископская власть в конечном итоге стала своего рода интегратором общественного порядка. На протяжении всего средневековья и даже после 1000 года, от Меровингов до династии Фридриха Барбароссы, епископы, хотя и не были официальными представителями короля, были его доверенными лицами, магнатами королевства, поэтому можно было терпеть, что в подконтрольных им районах нарушался общественный порядок и графы не могли туда входить. Когда это радикальное исключение было официально закреплено, оно было определено как «иммунитет». «Иммунитет» не имел ничего общего с «феодальным» аспектом и вассально-благотворительными отношениями. Иммунные епископы и аббаты создавали собственные вооруженные формирования, часто вассального типа, и использовали свой авторитет, чтобы легко мобилизовать население в случае опасности или когда необходимо было выполнить крупные работы, представляющие общий интерес (дороги, укрепления). В глубине души короли знали, что их оперативные полномочия в иммунных областях не будут направлены против короны. В условиях сложности создания однородной и идеально скоординированной системы провинций преимуществом было то, что некоторые области находились во владении друзей, власть которых не была наследственной и не была чуждой королевству, когда оно должно было приступить к общей военной мобилизации.

Само собой разумеется, что простой иммунитет не мог функционировать. Она развивалась спонтанно как конкретное юрисдикционное действие со стороны иммунного лица, и со временем эта юрисдикция была признана посредством назначений, которые не только предоставляли иммунитет, но и явно давали право наказывать, привлекать к суду, призывать к оружию: *ius distringendi*, более часто упоминаемое в документах как *districtio* или *districtus*. Учитывая их иммунитет, неудивительно, что многие епископы и аббаты включались в публичные документы в число «великих» франкских королевств, таких как герцоги и графы.

Эти средневековые прецеденты гражданской власти епископов объясняют, почему сегодня среди историков возникла кризисная ситуация в связи с идеей о том, что в некоторых регионах Европы (особенно в Италии) королевская власть, недовольная чрезмерной автономией графов, с середины X века проводила систематическую политику «*»* (усиление власти). Прежде всего, в кризисе находится избитое понятие «епископ-граф». Сама политика Отонидов никоим образом не кажется подчиненной последовательной проепископальной логике, а скорее отражает констатацию факта: были уже могущественные епископы, которых было целесообразно сохранить в качестве союзников, и другие, которых нужно было устранить из-за их чрезмерной власти. В обоих случаях короли стремились рационализировать существующее положение с помощью корректирующих мер.

Это уже удаляет от нас образ италийского королевства, покрытого епископами-графами. Но фигура епископа-графа имеет свое собственное опровержение, подробное и убедительное. Положительным развитием иммунитета был *districtus*: «право принуждать» в первоначальном значении и «область применения такого права» в последующей истории термина (так же как и в современном, полностью территориальном понятии «округ»). Когда королевские документы добавляли к иммунитету *districtus*, они определяли количество миль, на которые распространялась епископская юрисдикция вокруг городских стен.

В период между X и XII веками эти права расширили свой радиус действия. Существовали королевские документы, которые устанавливали, что иммунитет и *districtus* должны считаться распространяющимися «на всю территорию, соответствующую графству», управляемому из города. Документы такого рода, тщательно проанализированные, объясняют, как графская территория использовалась в основном как географическая единица: даже те немногие епископы, которые получили такой обширный *districtus*, были

далеки от того, чтобы быть королевскими чиновниками. Фактически они не должны были отчитываться перед королем о своей работе так же, как графы, потому что не входили в государственный аппарат в смысле должностных лиц. Таким образом, они не были «графами», а обладали привилегией, то есть имели власть феодального ранга, но официально признанную высшей государственной властью.

В представлении о средневековье, в том числе и о монастырях, есть немало стереотипов, которые необходимо преодолеть. В средние века монашество пережило некоторые из своих наиболее значительных преобразований. Наибольшим проявлением бенедиктинского монашества, ориентированного на автономию и особое управление властью, было французское аббатство Ключи, основанное в начале X века и впоследствии развившееся с огромным количеством филиалов по всей Европе. Все они были монастырями, причем весьма значительными; только один из них был аббатством, именно Ключи, и он осуществлял своего рода высший дисциплинарный и организационный контроль, более или менее эффективный в зависимости от периода и региона. Даже районы, бедные по количеству ключианских филиалов, находились под влиянием Ключи. Признаками такого влияния в различных бенедиктинских аббатствах были гордость за собственную эффективность, закрытость от внешних влияний, частая поддержка папы против епископов, любовь к торжественной литургии, предпочтение великолепия скромности. Было бы ошибкой рассматривать с моралистической точки зрения некоторые проявления богатства средневековых монастырей: богатство было признаком высшей духовной дисциплины, означало, что эти центры оставались морально уважаемыми и, следовательно, привлекали много пожертвований. Проявлять богатство означало демонстрировать свидетельство религиозности и честности; таким образом, верующие знали, что они делают пожертвования или завещания в пользу монахов, чьи молитвы были особенно услышаны, и богатство еще больше увеличивалось.

Аристократические семьи основывали монастыри, чтобы обеспечить конкретные и эффективные ориентиры для своего территориального контроля: защищая монастыри, помещая в них своих членов (), крупные семьи показывали, что они ни в коем случае не считают их местами, чуждыми миру, а, напротив, центрами организации консенсуса. Монастыри были важными местами для народной религиозности: представление себя в качестве их защитников придавало легитимность феодальным властям, нуждавшимся в подтверждении. Кроме того, феодальные семьи устраняли рассеяние, вызванное разветвлением, именно путем поддержания идентификации с монашескими общинами. Размещение в монастырях членов разных ветвей, поощрение различных возможностей для встреч были мерами, направленными на устранение рассеяния, и поддерживали единое сознание в обширных и разделенных семейных группах.

Кроме того, наиболее престижные и важные монастыри были не только посредниками, но и прямыми обладателями феодальной власти, часто (как епископы) полученной в результате торжественных «иммунитетов», полученных от королевства, когда оно еще было эффективным. Бенедиктинские монастыри в любом случае оставались молитвенными общинами, «высшими» проявлениями мира, который воспринимал себя в целом как христианское общество и особо уважал тех, кто молился за спасение себя и своих благодетелей. Они были значимыми социальными реалиями, поскольку отражали в себе, конденсировали в себе интересы и образ жизни того мира. Монахи, возможно, меньше заботились о обществе, чем мы, привыкшие к гуманитарному и благотворительному толкованию религиозной практики. Они любили труд только как необходимое условие для молитвы, не верили в очищающую функцию ручного труда: даже современные

бенедиктинцы, филологически внимательные к историческим применениям Правила, призывают прояснить общепринятое значение выражения «ora et labora». Средневековые монахи проявляли свою наиболее активную социальность в средневековой сети коммуникаций: они не уклонялись от функции центров помощи паломникам и путешественникам всех уровней; они были местами особой опеки в мире, в котором было очень трудно жить.

В течение XII века, после достижения максимального престижа и общественного участия, традиционные монастыри начали подвергаться критике за свою феодальную власть и аристократическое отношение (в основном не являвшееся результатом коррупции, а последовательной традицией). Особенно Ключи и другие крупные бенедиктинские монастыри обвинялись в том, что они не соблюдали в своих стенах культуру бедности. Начали требовать большей приверженности благотворительности (на что откликнулись не столько монастыри, сколько капитулы каноников, отличавшиеся своим гостеприимством) или большей воздержанности от власти и богатства.

В этой обстановке бенедиктинское монашество, переосмысленное картезианцами и цистерцианцами, имело большой успех и ускорило кризис прежних монастырей, отвлекая на себя щедрое покровительство власть имущих, которые хотели поддерживать религиозные организации, любимые народом, а не монашеские владения, уже вызывавшие недоверие. Более отстраненные от мирских дел, более посвященные одиночеству — как свидетельствуют *Consuetudines cartujas* — «новые» монахи на самом деле не были радикальными новаторами. Они продолжали стремиться к материальному благополучию, в большей степени занимаясь скотоводством и реорганизуя сельское хозяйство с помощью метода «ферм», тем самым улучшая техники распашки. Они по-прежнему оставались опорой — более удаленной, но всегда престижной — для видных семей. Но, несомненно, их монастыри уже не были амбициозными центрами власти, уже не были сеньориями () и характеризовались образом жизни, который приближал их к жизни крестьян: крестьян, которые по-прежнему были экономически зависимыми, но стали немного менее политически зависимыми.

9

Коммунальное движение между мифом и реальностью

Мир, который Фридрих Барбаросса установил с итальянскими коммунами, послужил исправлению представления о том, что «коммунальная эпоха» означала преодоление «феодальной» фазы: император и король Италии согласился, чтобы общины Ломбардской лиги продолжали взимать «регалии» (то есть государственные налоги) в обмен на клятву, которой они признавали себя коллективными вассалами короля.

В Италии группа семей, которая дала начало муниципалитету, могла быть аристократической или буржуазной, но в обоих случаях она дала начало ядрам с большой движущей силой. Во всей Европе можно говорить о коммунах, но только в Италии и, отчасти, в южной Франции можно говорить о городах-государствах. *Граждане* этих коммун не довольствовались автономией в пределах своих стен (как имперские города Германии или крупные буржуазные

коммуны Фландрии), но более или менее тесно господствовали над окружающей территорией, над которой коммуна становилась коллективным господином.

В мире, в основном сельском — где крупные города были почти только на северном побережье и, прежде всего, в Средиземноморье — правила сосуществования были преимущественно сельскими. И неудивительно, что наиболее инновационные политические и социальные организации, общины, находились в рамках уже проверенной сети, которая была феодальной вверх (общины как коллективные вассалы короля) и сеньоральной вниз (общины как коллективные господа своей территории).

И все же престиж городских центров был силен и в средние века: он определялся традицией централизации, унаследованной от древнего мира, экономической активностью городских торговых и финансовых групп, харизмой епископских властей, присутствовавших в городах (*civitas* — это именно населенный центр с епископом). В городе мы находим лангобардских герцогов и франкских графов; в городах пытались утвердить свою власть (чаще, чем считалось в определенный момент) сами княжеские и сеньорские династии пост-каролингской эпохи; в городах сначала появились важнейшие религиозные школы (школы каноников великих соборов), а затем университеты; города принимали оживленные королевские дворы, в которых, как в Париже Капетингов, можно было сформировать национальную идентичность, но также, как в Палермо Фридриха II, можно было осуществить самые смелые смешения между разными культурами.

Цивилизация позднего Средневековья более урбанистична, но было бы упрощением интерпретировать диалектику «село-город» как диалектику «отсталость-прогресс». Крупные латифундии, оружие, власть над селом диктовали правила почти на протяжении всего средневековья, навязывая социальные иерархии и определяя формы политики. Но всегда используя города в качестве своих ориентиров: город был рынком, местом урбанизации аристократических семей, резиденцией, в которой они становились вассалами епископа. Кроме того, городское сосуществование фильтрует и передает вовне опыт, переработанный в сосуществовании в пределах стен различных социальных слоев и различных политико-социальных моделей, даже если они были древнего сельского происхождения. В конечном счете, инновации имели свой центр в городе, но эти инновации перерабатывали материалы, которые по-прежнему были материалами латино-германского столкновения, имевшего решающее значение для средневекового тысячелетия в Европе.

Пост-каролингская Италия, в отличие от остальной Европы, за исключением Фриули и Пьемонта, не создала территориальных княжеств. Одна из причин этого кроется в том, что территориальное княжество было заменено муниципалитетом, который в Италии, в отличие от регионов к северу от Альп, не довольствовался автономией в пределах своих стен, а устанавливал гегемонистский контроль над своей территорией и строил то, что можно назвать «городами-государствами».

Невозможно дать полностью «буржуазно-меркантильное» объяснение происхождения итальянских общин, поскольку оно противоречило бы отнюдь не редким случаям, когда инициатором создания общинного органа была аристократия: часто инициатива исходила от вассалов могущественных епископов, которые почти всегда набирались из числа крупнейших *воинов* территории. Не следует также приходить к полной инверсии тенденции и обобщать «феодальную» теорию происхождения коммун: справедливо подчеркнуть элементы преемственности между коммунальным опытом и предшествующими социальными иерархиями, но прежде всего следует отметить, что происхождение различных коммун может иметь самые разные характеристики, как по времени и способу

формирования, так и по типам социальных групп, которые были их интерпретаторами. Последовательные политические изменения общин были, очевидно, обусловлены их различными истоками, но в то же время следует отметить, что разные общины впоследствии создали схожие институты: это хороший пример того, как единый институциональный опыт может иметь в качестве главных действующих лиц разные социальные слои, которые после созревания такого опыта приходят к схожим поведению и политическим решениям. Это позволяет, кроме того, избежать постоянного и ошибочного обращения к явным изменениям, которые предполагают социальную замену даже тогда, когда ее нет: при описании перехода от «феодальной эпохи» к «эпохе коммун» предполагались сильные ускорения неизбежного и однонаправленного прогресса (история никогда не бывает такой), в котором признавались, в лучшем случае, возможные задержки.

Возможность более сложной оценки итальянских коммун подтверждается также событиями, связанными с борьбой коммун против Фридриха I Барбароссы, борьбой, которая не имела ничего общего с национальной и очень малое отношение к социальной: многие коммуны Ломбардской лиги имели правящие классы, которые были скорее аристократическими, чем буржуазными, и все они — даже те, которые были буржуазными — были очень далеки от идеи Италии или Ломбардии. С другой стороны, Барбаросса, в своих походах в Италию, осуждаемых нашей националистической традицией, выполнял лишь свой долг как король Италии: он не был, таким образом, немецким угнетателем за рубежом, а просто королем, менее отсутствующим, чем его предшественники.

В этом отношении значимым является выход из того конфликта, когда, как мы уже упоминали, Барбаросса согласился, чтобы общины продолжали получать налоговые поступления, причитающиеся королю (роялти), при условии, что в обмен на это общины объявят себя его вассалами. Если учесть, что передача власти по феодальному принципу была совершенно ненормальным явлением, то запоздалая феодализация, представленная Констанцким миром, оказывается хорошим примером использования королем более сложных юридических инструментов и ускорения феодальной логики, осуществленного именно теми общинами, которые историки начала XX века ошибочно считали «антифеодальной» новинкой итальянского Средневековья.

Это соглашение уже содержало в себе как «государственную необходимость» римской традиции (с XII века и далее мы находимся в период возрождения изучения римского права), так и постоянную жизнеспособность вассально-благотворительных отношений германской традиции. Королевство было заинтересовано в активном и явном «надзоре» за все более сложной мозаикой своих территорий, чтобы включить в нее и новый коллективный организм: организованное городское сообщество.

Само сообщество, более зрелое, более мощное и более организованное, завоевало территорию города, ведя себя как «коллективный господин», и использовало не новые инструменты контроля над сельской местностью. В большинстве случаев общины заменили светскую власть епископов в окрестностях города. И когда завоевания общин распространились за пределы прежнего епископского владения, сельское население очень редко принимало общину как силу, освобождающую от угнетения банального господства. Более того, крестьяне часто опасались налоговой эффективности нового общинного господства. В период с конца XI по первую половину XII века среди общинных лидеров сформировалось сознание того, что они являются публичной и легитимной властью *par excellence*. Этому способствовала культура: многие из первых консулов были судьями и нотариусами, что ускорило переоценку общины как *res publica*. Во многих случаях общины даже цеплялись за воспоминания о каролингском графстве, отстаивая право управлять им

целиком как законные коллективные правители вместо прежнего графа: юристы определяют это как «право комитаты». Само итальянское слово «contado» (от *comitatus*, именно), обозначающее регион, подчиненный муниципалитету, происходит от этого общественного представления о коммунальной власти над сельской местностью.

Внутренняя политическая диалектика общин была очень жесткой и привела к противостоянию не только разных социальных слоев, но и семейных групп, которые боролись друг с другом с единственной целью утвердить свою власть. И все же эти конфликты уже ставили под сомнение некоторые основополагающие принципы: публичный характер общины и, следовательно, ее право выступать в качестве гегемонной силы в отношении сельской местности. Конфликты привели, скорее, к изменению внутреннего баланса власти. В то время как основные семьи горожан по-прежнему были представлены в «советах» (более или менее широких коллегиальных органах, более или менее ассамблеарных), в XII-XIII веках возникла необходимость заменить — сначала спорадически, потом систематически — коллегиальную власть консулов (которых могло быть три, но также и десять) исполнительной властью, сосредоточенной в руках одного человека (). Это был «поэста», который сначала, на экспериментальном этапе, обычно был гражданином того же муниципалитета (и в некоторых случаях выполнял функции председателя коллегии консулов), а затем, на этапе становления новой институции, был пришельцем и правил, опираясь только на советы. Постеста-чужеземец утвердился повсеместно в первые десятилетия XIII века; к нему обращались не столько из-за его нейтральности, сколько потому, что нужен был «профессиональный» политик, эксперт в области права и «искусства управления», который умел бы энергично управлять сложным равновесием в городе и, благодаря своему изысканному слогу, был способен выступать посредником и убеждать. С принятием *подостаты* должны были закончиться беспорядочные междоусобные борьбы, беспорядочное занятие должностей власти, чрезмерная гибкость органов управления в отношении частных и случайных интересов.

Это не было простой реакцией порядка на беспорядок, это не было вынужденной реакцией на объективную нежизнеспособность политики города. Очевидно, появились новые социальные действующие лица, несколько «новых» семей: урбанизированные семьи среднего уровня владельцев земли в графстве, семьи горожан, которые приобрели влияние благодаря торговой и финансовой деятельности, смешанные семьи, которые занимались ремеслом и одновременно управляли сельскохозяйственными владениями. Эти растущие социальные силы во всех случаях меняли политическую картину общины: не имеет значения, что в муниципалитете, в котором они действовали, изначально существовал аристократический или буржуазный правящий класс (из которого выходили консулы), потому что в любом случае новые семьи противостояли прежней олигархии, какими бы ни были их социальные особенности и источники богатства.

XIII век был великой эпохой перемен, в которой сочетались социальная активность и тенденции к рационализации. Наследие правил, политических концепций, институциональных моделей не было утрачено, когда в начале XIV века отдельные лица (часто «капитаны удачи», то есть военачальники ополчений, нанимаемые общинами для борьбы с соперничающими общинами) или семьи постепенно захватили власть в крупнейших итальянских городах, открыв эпоху «городских сеньорий». Города уже имели административные аппараты, от которых было бы абсурдно отказываться: и так случилось, что именно с первыми шагами городских сеньорий — когда мы двинулись в сторону региональных государств — человек становился патрицием за выполнение высоких государственных функций, а не выполнял эти функции, потому что уже был патрицием. С

одной стороны, новые абсолютные власти, очевидно, положили конец демократической и ассамблейной традиции, на которой развивалась коммуна, а с другой — использовали многие из аппаратов, которые эта ассамблейная традиция помогла построить, и, в частности, строители региональных государств унаследовали от коммуны, чтобы легитимировать свою власть, традицию *res publica*.

В остальной Европе ритмы, параллельные эволюции итальянского коммунального движения, можно найти только в южной Франции. В некоторых регионах (северная Франция и Германия, Фландрия) явно ремесленный и торговый характер коммунальных правящих классов оправдывает связь «коммуна = буржуазия», в то время как в центральной и южной Франции нередки случаи, когда коммунальные правящие классы были аристократического происхождения. Везде были более автономные и менее автономные коммуны: в Германии более автономными были «имперские города», потому что им удавалось лучше уклоняться от контроля территориальных князей; во Франции, напротив, города, подчиненные контролю королевских чиновников (, «препостовы»), были менее автономными, чем другие. Таким образом, можно говорить о европейском коммунальном движении. Но в этих коммунальных процессах следует подчеркнуть два отличия от Италии. Первое, решающее, заключается в том, что каждая коммуна стремилась к максимальному самоуправлению в пределах своих стен и не имела амбиций построить территориальное господство. Второе — отсутствие сильных политических изменений в течение XIII века: каждая из этих общин развивалась постепенно, в значительной степени обусловленная своим происхождением — то буржуазным, то, реже, аристократическим — и не становясь ареной ни сильных социальных перемен, ни решительных институциональных преобразований, возможно, также потому, что они не были городами-государствами. Эти муниципалитеты были менее заинтересованы в том, чтобы выступать в качестве публичной власти, и в основном заботились о регулировании своего сосуществования с тем, кто, по логике вещей, был наиболее авторитетным представителем публичной власти: епископом, территориальным князем, а зачастую и непосредственно королем с его представителями.

10

Мрачный образ средневековья, которое заканчивается

В начале было сказано, что два последних века Средневековья всегда играли очень важную роль в формировании образа Средневековья, который впоследствии укрепился. Люди раннего Нового времени знали о Средневековье и таким же образом интерпретировали и предыдущие века. Недостаток продовольствия заставлял представить (и заставляет представить даже сегодня) средневековье гораздо более голодным, чем оно было на самом деле; процессы территориальной реорганизации, начатые с помощью феодальных инструментов, привели к ошибочному представлению о том, что все предыдущие века были феодальными. Заканчивается Средневековье с яркими чертами и резкими контрастами: XIV век был отмечен страшными эпидемиями, но это не помешало развитию дальних торговых путей и крупных ярмарок; войны были многочисленными и серьезными, но уменьшилась эндемическая воинственность, связанная с предшествующей крошечной фрагментацией сеньоратов; к власти реже приходили авантюристы без легитимности, но крестьянские

восстания участились; уже было много открытий новых миров, культура расширялась, и, тем не менее, все суеверия выжили, а религиозные преследования стали более жесткими.

Происходила политическая реорганизация с образованием новых государств (национальных во Франции, Англии и Испании; региональных в Германии и Италии); почти везде местные властители предпочли поставить себя под защиту короля или князя, пожертвовав своими территориями, чтобы получить их обратно в качестве наследственных феодалов, наделенных полномочиями, легитимизированными сверху: перестройка была феодальной, скорее по форме, чем по сути, но центры власти сократились по количеству и расширили свои функции. Эти перестройки означают, что на уровне больших равновесий переход от средневековья к новому времени подобен переходу от «микрokonфликтности» между людьми к «макрokonфликтности» между государствами. На всех других уровнях именно люди средневековья () определили свое собственное превосходство и посеяли заблуждения о себе. Типичными проявлениями средневековья были те дворы, в которых планировались великие открытия, обогащались научные знания, переживались новые и более утонченные художественные опыты. Средневековье породило новаторов, что очевидно в любом переходном периоде, но в данном случае исторический период породил своих собственных хулителей, которые оставили потомству не только негативное, но и статичное определение, как будто гуманисты были не детьми мучительного, но богатого тысячелетнего пути, а прямыми потомками абстрактной памяти о древности.

11

Век экспериментов

В этом уроке мы указали на некоторые особенности IX-XII веков в Европе. Теперь имеет смысл задаться вопросом не только о том, что характеризовало (и не в негативном смысле) эти центральные века, но и о том, что они имели общего с другими шестью веками, которые обычно определяются как средневековые. Давайте теперь ответим на простые вопросы, которые обычно не нравятся историкам: в чем смысл средневековья? Чем мы ему обязаны? Зачем его изучать или преподавать?

Возможно, не бесполезно попытаться ответить на эти вопросы: не потому, что позиции историков, предлагающих упразднить термин «Средневековье» и растворить его в понятии «длительное Средневековье», являются необоснованными, и не потому, что нельзя утверждать, что на более высоких уровнях любознательности любой период заслуживает изучения только за то, что он существовал. Однако мир состоит не только из любознательных и терпимых людей, и в нашей культуре укоренилось стремление оправдывать свои поступки: и, возможно, с философской точки зрения это не бесполезно. Итак, имеет смысл поразмыслить над тем, почему профессиональные медиевисты все чаще используют концепцию плюрализации власти, а не концепцию ее распада: это происходит потому, что сельским поместьям средневековых замков признается достоинство как способу функционирования общества.

Каролингская Европа, которая могла использовать ярлык «государство», не была более справедливой и гуманной; таковыми не были ни государство Савойи, ни государство

Висконти, слишком прославленные как символы современной эпохи, состоящей из менее раздробленных политических единиц. Да, среди граждан итальянских, немецких или фламандских муниципалитетов существовал особый дух общности. Но, как и итальянские коммуны, мы видим, что они также занимались завоеванием своей территории, мы видим, как они действуют в качестве коллективных угнетателей крестьян, и мы видим, что сельские деревни Паданской равнины явно предпочитают господство маркизов Паллавицино верховенству муниципалитетов Пармы и Пьяченцы, чье налоговое давление их терроризировало.

Это первый шаг: сравнить все политические формы средневековья, признавая их равное достоинство. Исходя из этого, сельское господство (не будем называть его феодальным, потому что нет делегирования власти сверху) и коммунальный режим в любом случае являются двумя наиболее оригинальными политико-социальными формами средневековья.

Но необходимо сделать еще один шаг. Что мы находим еще до сельского сеньората и после коммунального режима? Мы находим экспериментальность. Средневековье — это эпоха политических и социальных экспериментов: без предрассудков, без принципов или, лучше сказать, с подвергнутыми сомнению, но всегда буйными принципами. Это долгий исторический этап, когда люди не верят ни в разум, ни исключительно в магию. Не верят в государство как конкретную структуру повседневной жизни, но постоянно вспоминают идеалы *res publica* или Священной Римской империи. Теоретизируют о небесном порядке, который отражается на земле, в виде своего рода абсолютной неподвижности, но вполне нормально встретить епископа тысячелетней давности, который рассказывает о карьере, которая за три поколения привела семью от крепостных к рыцарям. Французская революция, свергнув феодализм, считала, что нанесла смертельный удар средневековью. На самом деле она свергла карикатуру на средневековье, неподвижное, да, пирамидальное общество.

Экспериментаторство проявилось в латино-германском столкновении, в византийских моделях, экспортировавших в Запад греко-эллинистическую культуру, в различных типах этнического сближения: я имею в виду как взаимодополняемость (королевства гогов, где римляне управляли, а романы сражались), так и сближение (королевство лангобардов после эдикта Астольфо, когда беднейшие лангобарды были исключены из военной службы, чтобы включить римлян, способных приобрести доспехи), и, прежде всего, к более реальной интеграции, осуществленной франками, уже связанными с галло-римским миром.

Экспериментальным было построение Каролингами смешанной системы, состоящей из территориальной власти и личной власти, из провинциальных правителей римского типа (графов) и военных руководителей, верных королю (*vassi dominici* или королевских вассалов). Экспериментальным было и создание снизу форм местной власти: сельских сеньорий. Они не были феодами, делегированными сверху, но и не были территориями, соответствующими топографии латифундий, а представляли собой сферы власти, основанные, по сути, на земельных ядрах, но «территориализованные», более компактные и способные осуществлять свою гегемонию также над сохранившейся мелкой собственностью.

В XI веке распространяются другие эксперименты, которые мы можем назвать «имитационными». Часто это процессы взаимного подражания. Графы, чтобы сделать свою власть наследственной, подражают конкретизации местной власти земельных владельцев, а владельцы, создавая свои гегемонистские сферы, подражают официальному характеру власти графов, их налогообложению, осуществлению правосудия. Новые светские власти фактически имитировали иммунитеты, официально предоставленные религиозным организациям. Епископальная церковь Рима имитировала иерархическую структуру

империи (особенно ту, которая была построена, или по крайней мере пыталась быть построена, Отонами, хотя и была недолговечной). В свою очередь, империя эпохи Швабской династии имитировала уже сформировавшуюся иерархическую структуру церкви.

Наконец, средневековый муниципалитет также является большим экспериментатором. Потому что в некоторых аспектах организованного сосуществования жителей он имитирует традиции сельских общин (). Потому что на его политическую деятельность влияют интеллектуалы, которые поддерживают память о греческой *полисе*. Потому что он превращает в орган коллективной власти спонтанные слияния аристократических клиентур, таких как вассальные клиентуры епископов. Потому что он обеспечивает распределение политических функций между самыми влиятельными семьями города. Потому что в процессе развития институтов он изобретает первого профессионального политика в европейской истории — *подоста*.

Отношения муниципалитета с его собственной территорией остаются в основном традиционными: община фактически создает коллективные сеньории и имитирует (вот еще одна имитация) власть графов, навязывая «рустичи» — которых тогда начинают называть *comitadini*, по-итальянски *contadini*, то есть «крестьяне» — что они должны подчиняться коммуне, потому что из того же города в другое время правил граф, государственный чиновник *par excellence*. Эти территориальные построения общин унаследовали в Италии городские господа, которые, как правило, были жестокими в военном отношении, но часто удавалось придать легитимность своим обширным владениям.

Таким образом, экспериментальный подход прослеживается на протяжении всего средневековья. Правда, в любом случае, если мы вернемся к средневековым векам, с которых мы начали, то увидим, что сельское поместье (не графства Карла Великого и не феодальные владения позднего средневековья) представляет собой настоящую единую цель, сначала разлагающуюся, а затем восстанавливающуюся, как деревянные детали детских построек, которые сохраняют свою индивидуальность как по отдельности, так и в соединении, образуя более обширную и сложную форму. В отношении сельского сеньората, *dominatus loci* средневековых источников, следует подчеркнуть спонтанность, конкретность, универсальность, однородное распространение модели почти по всей Европе: только Англия и южная Италия, находившаяся под властью норманнов, кажутся имеющими пирамидальную политическую структуру, которую старые школьные учебники применяют ко всему западному обществу. И в некотором смысле в *dominatus loci* мы снова видим эффективность латино-германского союза, потому что в нем присутствует защита-угнетение населения (в котором мы находим германскую культуру деревенского вождя) и постоянное стремление представить феодальные власти как публичные (в чем проявляется римская культура государства).

Сельское сеньориат средневековья является, таким образом, наиболее оригинальной экспериментальной формой длительного периода экспериментов. Это конкретное подтверждение абстракции «средневековье», которое следует делать без эмоций, чтобы увидеть в действии людей и структуры прошлого, как в лаборатории, без ностальгии и без экзорцизмов.

Основная библиография

Альбертони, Г., *L'Italia carolingia*, Рим, 1997.

Arnaldi, G., *Le origini dello Stato della Chiesa*, Турин, 1987.

Arnaldi, G., «“Media Aetas” fra Decadenza e Rinascita», *La Cultura*, X, 1972, с. 93-114.

Блох, М., *La société féodale*, Париж, 1994.

Бутруш, Р., *Seigneurie et féodalité au Moyen Âge*, Париж, 1970.

Каммаросано, П., *Средневековая Италия. Структура и география письменных источников*, Рим, 1991.

Капитани, О., *Средневековые недавнего прошлого. Историографические заметки: между двумя войнами и многими кризисами*, Болонья, 1979.

Читтолини, Г., *Формирование регионального государства и институты сельской местности. XIV и XV века*, Турин, 1979.

Делогу, П., *Введение в изучение средневековой истории*, Болонья, 1994.

Делогу, П., ред., *Периоды и содержание средневековья*, Рим, 1988.

Дуби, Ж., *Сельское хозяйство и жизнь сельских районов в средневековой Европе*, Париж, 1977.

Фурманн, Х., *Путеводитель по средневековью*, Рим-Бари, 1989.

Ле Гофф, Ж., *Цивилизация средневекового Запада*, Париж, 1982.

Льюис, Б., *Политический язык ислама*, Рим-Бари, 1991.

Микколи, Г., *Религиозная история*, в: *Разные авторы, История Италии*, II, 1, *От падения Римской империи до XVIII века*, Турин, 1974, с. 431-1079.

Орталли, Г., ред., *История Европы*, III, *Средневековье. V-XV века*, Турин, 1994.

Петруччи, А., *Средневековье, которое нужно прочесть. Руководство по изучению письменных свидетельств итальянского средневековья*, Турин, 1992.

Помиан, К., *Европа и ее нации*, Милан, 1990.

Проверо, Л., *L'Italia dei poteri locali*, Рим, 1998.

Серджи, Г., «Feudalesimo senza “sistema”», *Prometeo*, 10, сентябрь 1993, 43, с. 52-61.

Табакко, Г., *Профиль истории латинско-германского средневековья*, Турин, 1996.

Табакко, Г., и Мерло, Г. Г., *Средневековье*, Болонья, 1981.

Табакко, Г., «Феодализм», в: *Разные авторы, История политических, экономических и социальных идей*, Турин, 1983, II, с. 55-115.

Транфалья, Н., и Фирпо, М., ред., *История. Великие проблемы от средневековья до современности*, Турин, 1986 и 1988, 2 т.

Биоланте, К., Историографические перспективы средневекового общества, Милан, 1995.

Waley, D., Города-республики средневековой Италии, Турин, 1969.